

Павел Коновалов

История одной жизни

**Санкт – Петербург
2003**



E. BREUER



ST. PETERSBURG

Наш отец

На фотографии боец с ружьем возле двух нарядных девочек с куклами. Это наш отец и его сестренки в 1906 году. Боец стал полковником Красной и Советской армии, но по душевному складу никогда не был не только воякой, но и военным. Об этом написана эта книга. О девочках в ней сказано совсем немного, как, впрочем, и о других, кроме матери, женщинах его жизни. Семья, дети не являлись ее смыслом. Практически отсутствуют зарисовки дорог, городов, рек и морей, а видел их автор немало. По одной транссибирской магистрали из конца в конец он проехал десяток раз, были и другие поездки в Крым, на Кавказ, в Прибалтику... Все это оказалось лишь фоном.

Книга написана в шестидесятые годы двадцатого века, когда отцу было шестьдесят лет. Это, можно сказать, его первое эпистолярное произведение. Оформить его ему помог старший сын – Владилен, использовавший, по видимому, воспоминания членов семьи, которых мы, младшие дети, не знали. И Володи уже нет теперь в жизни. Павел Иванович посвятил всю последующую свою жизнь написанию дневников. Хватит ли у нас сил и здоровья донести содержащуюся в них мысль и ценную информацию хотя бы до внуков, как это сделал Володя с материалом, представленным здесь, сказать трудно. Внуков у Павла Ивановича четверо и одна внучка - Алена. Все внуки, особенно старший - Павел, в детстве были очень похожи на него. Все, кроме последнего – Серафима, родившегося уже после его смерти, не живут в Санкт Петербурге, а двое - Митя и Алеша - даже с трудом читают по-русски. Так распорядилась жизнь. Не искал Павел Иванович для своих «чужих краев». Об этих «чужих» краях, сказано в его дневниках немного. Увидеть, и тем более что-либо иметь, – не было целью его существования. Путешествовал он мыслью и воображением. Все-то он постиг из прочитанного и передуманного. События в мире и «западный» взгляд («Голос Америки», Би-би-си,...) на Советский Союз интересовали его больше всего в последние годы. Он хотел знать, осмыслить и, главное, поспорить, чтобы убедить своих и чужих в превосходстве идей коммунизма и необходимости их защиты на своей Родине. На какой почве и как эти взгляды развились и рассказано на страницах этой книги.

Роман и Ирина Коноваловы

Вспомнить и рассказать

Скоро стукнет шестьдесят. Многие из моих друзей, близких и далеких, о коих речь пойдет дальше, отправились, как говорилось раньше, к праотцам.

Гипертония и с ней связанные другие хворобы говорят, что дело приближается к концу. Только за последние три года мне шесть раз довелось лежать в госпитале. А вот и более тревожные звонки. Гипертонический кризис и, наконец, кровоизлияние в мозг, правда небольшое, вызвавшее только недели на две расстройство речи. Хотя врачи и говорят, что это ерунда, но я то ведь знаю, к чему это приведет.

Почти каждый день, когда я разворачиваю газету, чаще всего на последней странице ее, я читаю некрологи. Все они начинаются так «После продолжительной и тяжелой болезни скончался ... имя... такой-то... Мы, его друзья и товарищи по работе, знали его...», за свои выдающиеся заслуги он был награжден... и т.д. и т.п.»¹ Везде так писали и так уж видно и будут писать только хоршее, только то, чем замечателен в своей жизни был человек. И вот сегодня я думал о некрологе, который, может быть, будет написан и обо мне, и, который, как я знаю, будет предельно краток.² В нем будет сказано: «Скончался член партии с 1919 года, Коновалов Павел Иванович, который за заслуги был отмечен такими-то и такими-то орденами и медалями и, что товарищи выражают соболезнование семье покойного». Так будет подведен итог целой шестидесятилетней жизни. Когда мысленно представишь себе его (некролог), невольно делается немного смешно. Разве жизнь человека может быть выражена в упоминании об орденах и медалях, которые он получил? Я считаю, что результат жизни человека остается в его делах, в его творениях и в оставленном наследии.

Я рядовой человек и оставленное мной микроскопически мало, как и наследие всякого рядового человека. Оно микроскопично по сравнению с наследием людей, о которых написаны книги, коим поставлены памятники, и годовщины смерти или рождения которых отмечают в газетах, журналах и по радио.

¹ Некрологи почти сейчас не пишут. Их заменили краткие объявления о смерти без перечисления заслуг и полученных наград. (Заметка 1978 года)

² Некролог: *Ленинградская правда*, 17 мая 1988 года «Ленинский райком КПСС, совет ветеранов партии, Ленинградский инженерно-строительный институт с глубоким прискорбием извещают о кончине члена КПСС с 1919 года, участника гражданской и Великой Отечественной войн инженер полковника в отставке, персонального пенсионера Павла Ивановича Коновалова и выражают соболезнования родным и близким покойного. Справки по телефонам:

Конечно, несколько обидно, что через год-два после смерти могут вспомнить тебя только оставшиеся жена и дети. Пройдет пятилетие, десяток лет и память и представление о тебе сотрутся и в их сознании. Обидно, но приходится себя успокаивать тем, что так бывает всегда и с абсолютным большинством смертных.

Трудно, трудно описать свой жизненный путь, тем более что в памяти многое уже потускнело, причем, как ни странно, но наиболее ярко памятливы события детских и юношеских лет, а тусклыми почему-то оказываются события более поздних и зрелых лет жизни. Собираясь изложить свою биографию, я невольно спрашиваю себя – а для чего это я делаю? Ведь в жизни было мало, очень мало того, что заслуживало бы внимания или подражания. Я не хочу казаться лучше или хуже, чем я есть, поэтому я не выброшу даже страниц моих воспоминаний, посвященных описанию людей и событий, которые, по сути дела, далеко не всегда могут служить примером. Они были. Они вместе с другими полнее покажут мой жизненный путь. Мне много приходилось читать воспоминаний, мемуаров и автобиографий, повестей и романов. Я всегда читал их с огромным интересом. Часто ставил себя на место автора и часто приходил к выводу, что наряду с подлинно жизненными страницами воспоминаний есть и многие страницы домыслов и вымысла. Сегодня мне это понятно. По человечески рассуждая, всем хочется, и для себя и для потомства, свою жизнь представить возможно более яркой, возможно более красочной и насыщенной событиями. Если бы человек писал свою автобиографию в течение всей жизни, а не под конец своего жизненного пути, то многое из событий имело бы совсем иное освещение. Все дело в том, что в зрелые годы события, давно случившиеся, рассматриваются уже с позиции человека, достигшего зрелых лет.

В двадцать лет мы даем описание событий и говорим, как мы в то время поступаем. А в шестьдесят лет те же события не только описываются, но и осмысливаются с точки зрения причин произошедшего. Почему, скажем я, и другие участники вели себя тогда так, а не иначе. Одним словом, в описании происходит процесс «офилософствования» событий. И поэтому, может быть, изображаемые события более тусклы, но зато более осмысленны и обдуман-ны.

С чего начать свои воспоминания? С предков? С детских лет? Или с описания более поздних лет с последующими возвратами, заглублием в жизнь до дней рождения? Попробую с предков.



1907 год. Семья Коноваловых. Деревня Фоминское



1923 год Партийные работники 18-ой стрелковой дивизии

Часть первая

Годы надежд и выживание

Мои предки

Итак, предки, имена которых сохранились в моей памяти. По мужской линии: Ермолай, Фаддей, Артемий, Иван, по женской - Апросиния, Аксинья, Матрена, Екатерина. Сами имена уже свидетельствуют, что мои предки принадлежали к тому сословию, которое не имело права выбирать имена своему потомству, да и стремления к благозвучию у родителей не появлялось, а называли детей так, как поп при крещении, руководствуясь святыми, именем святого, в день которого ребенок появился, называл. Последние два имени, отца и матери, звучат более современно. По-видимому, к концу XIX века предоставлялась большая свобода в выборе имен для новорожденных, а, может быть, попы стали более образованными и не всегда глядели в святцы.

Мои предки происходили из крестьян самого глухого угла сравнительно известной Ярославской губернии государства Российского. Глушь тех мест подтверждали сказки и прибаутки, в большом числе ходившие в народе, высмеивавшие пошехонцев, то есть жителей мест, где рождались, жили и умирали мои деды и прадеды.

Сказать о предках как можно полнее необходимо, так как-то, чем я был и чем я стал, в какой-то степени обусловлено ими, не только, может быть, наследственностью, а именно тем миром, в котором они жили, и который в детстве воздействовал на мое воображение и развитие моего сознания.

Впервые я помню себя отчаянно ревушим, уцепившимся за верхнюю кромку полотнища распахнутой двери, куда меня подсадил и, видя, что я держусь ручонками, отпустил свои руки на кокой-то момент мой дядя Николай (Корявый). Я, трех лет, был этим дядей Николаем, которому самому то было тогда лет шестнадцать, привезен к своему деду и бабке на лето из Петербурга, или, как чаще называли, из Питера. Предшествующих этому событий я не помню. До сих пор в памяти моей встают бородастые лица прадеда и деда. У первого – прадеда Фаддея - борода седая длинная, щедровитое, как говорили в деревне, после оспы лицо и с большой лысиной голова. Он обретался большей частью на печи или на полатах. Дед Артемий, у которого я был первый внук,

был тоже бородат, только борода была покороче и значительно темнее, более темные и густые на голове волосы.

К тому времени, как я появился на свет, моя бабушка Аксинья, благополучно родила и вынянчила шесть сыновей и одну дочь. Да почти столько же рожденных ею перемерло – отдали богу души – в детстве. Нужно упомянуть, что, как дед, так и бабка, ко времени моего рождения были, хотя и не первой молодости, но еще трудоспособны и жизнедеятельны. Так уже после того, как родился я, их первый внук, у них, в свою очередь, родилась дочь Анна или Аннота, как обычно ее звали.

Ярославцы славились отхожими промыслами. Как я позже выяснил, из нашего самого глухого из самых глухих углов Пошехонья – мой отец был первым, кого направили в Питер в учение портняжному ремеслу. Так из шести сыновей мой дед для продолжения хозяйства и для работы на земле оставил только Василия и Федора, остальные, вслед за моим отцом, отправлялись в Питер обучаться тому же ремеслу. Полагаю, что успех первенца на поприще питерской жизни сыграл не последнюю роль в направлении в Питер других младших сыновей.

Почему-то впечатлений моего раннего детства, связанных с городом, нет. Хотя я девять месяцев в году, не менее, жил в городе. След оставили, в первую очередь, события в деревне.

Вот вижу себя на лавке за столом, и моя бабушка, обращаясь ко мне, говорит: *«Коминец, съешь яичко»*. *Коминцем* называли ласково внуков и сыновей (Возможно, испорченное «кормилец»?)

Вот я отошел за три дома от зимовки, где в то время проживали дед и бабка. И это впервые. Широкая, как мне казалось тогда, улица между двумя рядами домов, поросшая ромашкой и лепешками от прошедшего стада, и следами колес. Избы в большинстве своем приземистые с низкими небольшими окнами и только выделяются два дома, строящийся пятистенок моего деда и пятистенная большая изба, расположенная напротив за четыре дома от нас. Чтобы посмотреть на окна этих пятистенков, мне приходится задирать голову.

Свой пятистенок мой дед строил в основном на те деньги, которые обязаны были высылать ему сыновья, вышедшие из учеников в подмастерья, и, в первую очередь, мой отец. Но видно заработки сыновей, да и доходы деда от хозяйства были невелики, так как эта пятистенная изба, постройка которой началась до моего рождения, была закончена, когда мне стукнуло семнадцать лет. Пока собирали и сколачивали деньги на кладку печи и отделку и протесывание стен внутри, нижние венцы подгнили, и их пришлось заменять новыми. Но, тем не менее, по сравнению с зимовкой, пятистенок, где уже можно было жить летом, поражал мое воображение: потолки выше, окна больше, стены белее.

Через месяц-два после меня в гости к деду приехали отец и мать. Достаток у них был нищенский, но таков уж был неписанный закон, сложившийся в на-

шем краю, что питеряк со станции к родителям в деревню, а это было тридцать верст, должен был ехать в тарантасе на паре с бубенцами. Приехать в телеге на одной лошади, а тем более, прийти пешком считалось совершенно невозможным. Если за зиму не удавалось сколотить трешки для найма злосчастной пары и тарантаса, то питеряк ехать в деревню не решался – засмеют. Родители сгорят со стыда перед соседями, так как всякий из *питеряков*, который не мог позволить себе эту роскошь, рассматривался в деревне или как отъявленный лентяй, или пропойца.

В это, так и в последующие лета, по велению деда, отец с матерью приезжали гостить в деревню. Для меня особенно радостны были эти годы, когда привязывали корзинку к задку тарантаса, а впереди укладывали свертки и узлы с кой-какой питерской снедью, я забирался на колени отца или матери и отправлялся в сказочное, как мне казалось тогда, путешествие.

Нанятый на станции Шексна ямщик не особенно гнал лошадей, полями и перелесками ехали почти шагом. Но вот деревня, и наш кучер старается проявить и собственную и лошадиную прыть. К деревне подъезжают под грохот бубенцов с наибольшей быстротой и еще быстрее проносятся через деревню. Деревенские ребяташки, услышав звук бубенцов и колокольчика, бегут открывать отводок, а мать или отец столпившейся у отводка детворе бросают несколько баранков в награду за их работу. Как это ни странно, но баранки в наших местах считались не меньшим лакомством, чем конфеты и пряники. Я так и не видел, чтобы *питеряки* одаривали ребяташек, чем-либо иным кроме как сухими, последнего сорта баранками. И вот мы подъезжаем к Фоминскому. Бубенцы уже предупредили о приезде *питеряков*, и навстречу выбегают из избы дед, бабка и дядьки. Меня подхватывают на руки и с торжеством несут в знаменитый пятистенок. Мать и отец достают свои нехитрые гостинцы и одаривают братьев и сестру, а деду отец торжественно вручает десятку, а то и две. Мы, вернее отец и мать, угощаем деревенскую родню теми же баранками и, почему-то всегда, селедками. Селедок, по-видимому, в деревне приобрести было невозможно. Я даже помню, что разговор о приобретении селедок и сохранении их начинался у отца с матерью еще задолго до выезда в деревню. Поднимался и обсуждался вопрос, не на какие деньги брать ее и не какие лучше брать, это, как видно, было определено традицией, а о том, как их паковать, сохранить и довести. Видно, разговор о селедках переносил отца с матерью от забот о хозяйстве в городе к радостному чувству освобождения от петерских невзгод при поездке в деревню. Позднее этот вопрос с селедками решался проще – появились бочонки селедки весом по десять – двенадцать фунтов. Конечно, на стол ставилась водка, а иногда на столе появлялся и привезенный из города кусок колбасы, тонко нарезанной еще в лавке. Меня угощали все тем же яйцом и опять с таким же ласковым обращением *коминец*. На стол ставился огромный самовар, в котором, уложенные в полотенце, варились яйца.

Сельская жизнь

Кстати о самоваре и самоварах. Как я выяснил позже, самовар был в те времена величайшей роскошью. Был он далеко не в каждой избе. Роскошь иметь свой самовар, а тем более часы с кукушкой, могли позволить себе в нашей деревне только те, которые имели своих *питеряков*, да еще торговцы, а их было двое. И самовар, и часы с кукушкой, и строящаяся пятистенная изба все это было следствие того, что три сына моего деда работали в Петербурге. О собственниках самоваров создалось мнение, что это наиболее зажиточные хозяева. И в деревне можно было слышать такое, когда хотели сказать о том, как хорошо и богато кто-либо живет: «у них каждый день чай пьют». В ту пору действительно чаепитие было роскошью. Чтобы позволить себе пить чай, необходимо было на деньги покупать чай и сахар, а деньги в сознании мужиков представлялись чем-то недостижимым. Ведь крестьянское хозяйство даже в начале XX века в наших местах было почти полностью натуральным. Хлеб, мясо, молоко, масло коровье и растительное, а также, в наших местах, льняное бельё, которое изготовлялось из полотна самотканого – все это производилось в семье. В каждой избе стояли кросна, и в каждой избе бабы ткали. А наиболее искусные ткачихи славились своими тонкими полотнами. Из полотна шили бельё, более грубое шло на портки. Ткали также скатерти и половики. Так что деньги требовались только на чай, сахар, керосин и белую муку. Мука являлась предметом большой роскоши, так как пироги из белой муки пекли не все, и то по большим праздникам.

Как ни странно, но в нашей деревне в ту пору вместо разменной монеты имели хождение яйца. Яйцо – одна копейка. За яйцо в лавке у Корнилова-Соколова можно было купить стакан семечек или пару конфет из патоки. Девка, скопившая пару дюжин яиц, у того же Соколова могла купить ленту, а парни, своровав яйца и получив четвертак, могли разжиться на косушку водки. Тем не менее, забота, как бы раздобыть рублишко, постоянно владела умами мужиков. В обиходе семьи деньги не были нужны, но без них нельзя было обойтись при выданье дочки замуж, при женитьбе сына, крестинах или похоронах. Приданое, хотя бы и самое несчастное, должна иметь каждая девка мечтающая выйти замуж. А это требовало покупки пары ситцевых платьев и двух трех платков на голову. Свадьба тоже требовала расходов на водку, белые пироги.

Кроме того, все парни в деревне горели желанием зимой иметь легкие санки, а летом тарантас, так как это считалось верхом зажиточности и венцом благополучия хозяйства. Владельцев санок и тарантасов, и девок, имевших солидное приданое, в наших деревнях называли *славутниками* или *славутницами*, по-видимому, потому, что о них шла слава. Расходы на приобретение этих вещей требовали уже десятков рублей и заставляли беречь каждую копейку. Разменять на что-нибудь гривенник, или, не дай бог, рубль считалось

большим несчастьем, да и менять нечего было, так как денег почти ни у кого не было.

Заработком в наших местах, а вернее источником доходов в те времена, были: главным образом молоко, лен, и, отчасти, овес. Отдаленность от городов (ближайший город в шестидесяти километрах) и железной дороги (тридцать верст), сравнительно малая населенность, позволяли иметь большое количество покосов, а значит и возможности содержать скот - коров и овец.

В деревне, дважды в день после дойки, молоко сносилось в сыроварни, сохранившиеся местными купцами. Сыров у нас не варили, но, тем не менее, это название было распространено применительно к маленьким маслодельням. В сыроварне из принятого молока изготовлялось масло. Сыроварню – этот, громко говоря, завод – обслуживала *сыроварка* и ее помощница, а оборудованные включало сепаратор и маслобойку, как первый, так и вторая вращались вручную. На обязанности *сыроварки* лежало принимать молоко, записывая его в фунтах в заборные книжки, перегонять его через сепаратор, собирать сливки и пахтать масло. Купцы, имея свои сыроварни, содержали и лавочки, в которых под молоко часто отпускали керосин, чай, сахар, пряники и ситец.

По дешевке скупая молоко (кроме как в своей деревне молоко не продашь, поэтому его отдавали за бесценок), а необходимые предметы, так как другой лавочки близко не было, продавали с большой наценкой - купчики весьма быстро выходили в купцы и в купчины. Начав торговлю и скупку молока с какой-нибудь сотней-другой рублей, некоторые из них через десяток лет выходили в *тысячники*. Обычно это были изворотливые, грамотные и не клавшие охулки на руку люди. Из деревни в семьдесят дворов, может быть, только 10-15 крестьянских хозяйств в своей расчетной книжке не имели долг за купцом, а остальные, как правило, были в долгу, как в шелку. Часто бывало так, что не только молоко за полгода вперед, но и яйца были запроданы купцу.

Льна сеяли много, но урожаи были неважные. Теревление, мочка, обработка на мялках, трепка и ческа льна велась всей семьей, в основном для себя, а незначительная часть попадала в руки купцов. В хозяйстве прибутку немного, а купцу - с мира по нитке.

Большие, на десятки верст залегшие дремучие леса, позволяли устраивать подсеки. Лес валился, пни корчевались – сучья и пни сжигались на месте. Пожарище вспахивалось и года два давало хороший урожай овса.

Сыроварни в деревне играли роль не только экономическую, но и культурную – утром бабы приносят молоко, а вечером даже парни согласны заняться этим делом. У сыроварни пока прогонят молоко через сепаратор, и вернут обрат, можно поделиться новостями, сплетнями, вволю наругаться. Хотя каждая семья жила в своем доме – в деревне обо всех знали все.

В деревнях у нас служили только *сыроварки* с помощницами, пастухи коровы и овечьи с подпасками. Из семидесяти дворов в деревне только в трех дворах, и то на лето, нанимали работников (слова батрак у нас не существовало). Эти семьи имели большую запашку и сенокосы при незначительном со-

ставе семьи. В остальных же хозяйствах, а семьи были большие, сыновья выделялись поздно, работниками были младшие члены семьи, да и старики ломали спины всю жизнь. Скуден достаток был, а труд, особенно летом, тяжел и изнурителен.

У нас до лета 1910-11 года никто понятия не имел о плугах, а большинство пахало не сохами, а косулями, бороны в абсолютном большинстве были деревянные. Вспахать клин яровой, а потом сжать рожь и ячмень, а у нас их жали только серпами, вытеребить лен и, наконец, заготовить на зиму сена и вспахать еще озимый клин – это заставляло работать всю семью от рассвета до темноты.

Во время сенокоса в деревне не оставалось никого, кроме ребятишек до восьми лет, да стариков, которые уже не могли ходить. Все остальные задолго до солнца - уже на покосах.

Мы, ребятишки, стайками бегали от дома к дому и, часто собравшись где-нибудь в овине, рассказывали услышанное от кого-нибудь, страшное. Кто-то слышал, что когда хозяев нет дома, то ухваты и сковородники начинают ходить по избе, и мы, подкравшись к окнам, расплющив носы о стекла, высматривали в пустой избе, не пошли ли по ней ухваты. И стоит кому-нибудь вскрикнуть или охнуть, как все бегут прочь, так как казалось, что пошевелились в углу сковородник.

Избы пусты. Они никогда не запираются. В любую можно войти. Как свидетельство, что в избе никого нет, к дверям приставлен батожок.

Нельзя не упомянуть об одной особенности нашего Фоминского. Деревня имела три края, каждый имел свое название: Барыковский, Дурновский и Цаплюговский. Названия произносились как - Барыковский, Дурновский и Цаплюговский край. По-видимому сказалась близость Вологодской губернии. Как там, так и у нас вместо Ц произносилось Ч (чарича, чапля вместо царица, цапля). Каждый край имел свои три поля, выгон – выгороду, и каждый край имел свой надел (душевой надел). Барыковский край – больше. Цаплюговский – меньше. Деление деревни на три края – напоминание о крепостном праве. Она принадлежала трем барам Барыкову, Дурнову и Цаплюгову. Но сведений, где жили эти господа и как они правили своими крестьянами, мне установить не удалось, так как, когда меня этот вопрос заинтересовал лет в шестнадцать, все старики уже перемерли. Во всяком случае, ясно, что в деревне не было ни одного господского дома, и крестьянами управляли старосты. След старост тоже исчез, кто они были, куда делись – неизвестно.

Интересная деталь - мне рассказывали старики - барин Цаплюгов был, как видно, одержим страстью, по особому нравящемуся ему рецепту, составлять семьи. Владея животом и душами своих крепостных, он взял за правило некрасиво парню давать в жены красивую девку. Чем больше разница, тем ему лучше. Мой прадед Фаддей был щедровит, лыс и невзрачен – зато бабуш-

ка Апросиния, выданная за него по воле барина, была одной из красивейших девок на деревне.

Еще были живы и прадед и прабабка, когда они выделили своих сыновей Артемия и Дорофея, оставаясь жить в своей старой покосившейся избе. (Позже на этом месте мой отец построил себе избу). Жили они отдельно, но были такие ветхие, что не знаю имел ли мой прадед свою запашку.

Все эти этнографические и экономические воспоминания встали передо мной значительно позже, а до того я жил, как и все ребятишки в деревне летом – в городе зимой.

Нравы и природа

Быт и нравы были предельно примитивными. Дед и бабка, не говоря о прадеде, были абсолютно неграмотными. Познание заключалось в двух-трех молитвах, если знание их считать элементом грамотности. Но рожденные и выросшие в непосильном крестьянском труде, они были большими практиками и одержимыми неумным желанием работать. Весной, летом, осенью, за исключением праздников, не оставалось ни одного свободного от работы часа. Иное дело зимой, когда работы сводились к уходу за скотом, заготовке дров и подвозу с дальних покосов сена.

Нравы были самые первобытные. Дед мог говорить и считал совершенно нормальным говорить обо всем, называя своими именами все вещи, о которых принято говорить намеком или обычно вообще не упоминать. Дед никак не мог понять, когда *питульки* пробовали убедить его, что это нельзя говорить, или, почему вдруг нужно называть то или иное действие или предмет по-другому, когда оно имеет всем понятное название. Но говорилось это без какой-либо задней мысли. Все увещания старика ни к чему не привели, хотя сам по себе дед был очень мягок и даже плаксив.

Хозяйством заправляла бабушка. Она являлась средоточием жизни в семье и ее, а не деда, побаивались сыновья.

Моя мать, женщина твердого характера, волевая и настойчивая, конечно не могла ужиться с бабкой; так получилось во второй приезд, что она повздорила с бабкой и заставила отца перейти к деду Фаддею. В его избе мы и заканчивали то лето.

Нельзя не сказать и о природе деревенской жизни. Фоминское расположено на холме, круто спускавшемся к речке. Выйдешь в оwin, глянешь под горку на речку, и сами ноги понесут тебя к ней. Бежишь, дух захватывает и боишься задержаться, чтобы не упасть. Бежишь мимо двух окрашенных в красный цвет дверей сеного сарая, амбара, который на камнях фундамента приподнят и кажется избушкой на курьих ножках, мимо *гуменника* и вот выбегаешь на берег ребячьей радости – речки Юг. На другом берегу – мельница, стучит пес-

тами толча и выбивая льняное масло на маслобойном заводе, и чуть слышно шуршат жернова.

Против мельницы мелко, так как речка выше деревни перегорожена лавами. Вода на мельничное колесо подается по канаве. На мелководье бабы били *кичигами* портки мужей, а ребятишки плескались или ловили рубашонками малявок.

Выше лав – пруд, плотина, подперев воду, делала заводь до семидесяти метров шириной, глубина выше лав была порядочная. Ниже лав – омут. За лавы и к омуту нам, малышам, вход запрещен - утонуть можно. Зато ниже лав и омута, где падавшая вода нанесла песок, мелко, тут все захвачено нами - детворой. Реку здесь можно перейти вброд, вода доходит до пояса, здесь много пескарей и еще больше малявок. Тут же и купаться можно. Вот почему большую часть дня проводим здесь, сюда нас пускают - здесь мы на виду. Нам, малышам ловить пескарей трудно, не владеем удочкой, но малявки – наши. Странная рыба малявка – беспородная, как дворяжка. Они стайками ловят всякую соринку, упавшую в воду и сразу по несколько штук попадают в наши бредни. С уловом, гордясь, мы возвращаемся домой.

Иногда забираешься на лавы и всматриваешься в выбитый водой ниже лав омут. Видны в воде стаи головлей, которые недоступны не только для нас, но и для взрослых. На червя он не берет, а с бреднем не пройдешь. Лежа на бревнах и глядя в воду, видишь, как в тени лав стоят небольшие застывшие, как крокодильчики – полосатые шурята. Смотришь на него – стоит, и вдруг стрелой метнулся в сторону, значит, попалась ему малявка или пескарь. Больших щук ниже лав нет, их ловят еще ниже.

Уставшие до изнеможения, поднимаемся в гору. Еле переставляя ноги, идешь по тропинке, по которой, сломя голову сбежал утром. Часто домой идти не хочется, и я ложусь в тени сарая дедушкиного овина. Высокая некошенная трава почти все закрывает. Лежу и, кроме неба и травы, ничего не вижу. Порхающие бабочки, прыжки кузнечиков, гудение над кашкой пчелы отрывают меня от забот. Лежа на спине, гляжу в небо. Смотрю на плывущие облака и выдумываю, на что они похожи. Наконец, хочу себе представить, что там еще выше. Мне как-то отец сказал, что небу нет конца и края, что оно бесконечно. Лежу и хочу представить себе эту бесконечность и думаю: вот если полечу быстро, как ласточка, то буду лететь бесконечное количество дней, а небо будет таким же далеким, и до конца его я никогда не долечу. И тогда я чувствую, что в голове у меня что-то туманится, какие-то круги появляются в глазах, и кажется, что я уже не на земле, что связь с ней потеряна. Такое состояние длится долго, но на самом деле это был лишь миг. Такое ощущение в течение всей моей жизни повторялось трижды и всегда почти в одном и том же месте, в траве дедушкиного овина, лежа и глядя в небо. Я говорил об этом матери, но она не поняла меня, да и я сам до сего времени объяснить свое состояние в эти минуты не могу.

Жизнь портновская

Мой отец одиннадцатилетним мальчишкой был отдан в учение портновскому ремеслу хозяйчику портному Ивану Алексееву в мастерскую, находившуюся в Щербаковом переулке, населенном в те времена разного рода мастеровыми. В учение был отдан на пять лет. В течение этого времени хозяин должен был его кормить, обувать, учить и, когда он выживет, должен был ему спривить пальто, пиджак, брюки, две пары белья, две рубахи и выдать пятнадцать рублей деньгами.

Учение шло, как и везде, вначале – выполнение работ по обслуживанию хозяина, его семьи и подмастерьев. Беганье по лавкам за кипятком и водкой, конечно, оплеухи и зуботычины, без чего, считалось, что и учение ремеслу в прок не пойдет.

Быт мастерской – крайне примитивен. Верстак – невысокий со стол, занимающий полкомнаты от стены до стены, служил местом работы, обеда и сна.

Примерно через год мальчик получал в руки иголку, лоскуток и начинал на нем делать первые штыки иглой. Затем постепенно – работа по выстигиванию подворотников, лацканов и ваты, идущей под подкладку зимней одежды. Мастерская шила женскую верхнюю одежду, и в ней работало около десятка учеников и десятка полтора – два подмастерья. Городская управа, призванная следить за санитарным состоянием кустарных мастерских, время от времени нарушала покой хозяйчика, так как вряд ли можно было говорить о санитарном благополучии в такой мастерской, где люди работали, ели и спали по двадцать пять человек в комнате. Поэтому, когда такая комиссия еще собиралась появиться, хозяин какими-то путями узнавал о ней и, как только в переулке завидят ее, так по сигналу хозяина: ховайся! ученики вагагой лезли на чердак, а если что, то и на крышу. Людей сразу в мастерской становилось меньше на половину и все комиссии проходили благополучно.

Портняжное мастерство в этой мастерской было невысокого уровня. Заказы выполнялись для какого-то торговца, имевшего магазин в Апраксином дворе. Фасоны были незамысловатые и почти всегда одного размера. Хозяин магазина отпускал все положенное, а хозяйчик в мастерской – мастер, пользуясь врученным ему заранее изготовленным патроном, кроил материал. Работа для подмастерья была сделанная. За пошив пальто он получал, в зависимости от фасона, от 75 до 90 копеек за штуку.

Кто не баловался водкой, а таких почти не было, ухитрялся сшить за неделю шесть – семь вещей и заработать в месяц до двадцати трех рублей. Но работать приходилось с шести утра до десяти вечера. Далеко не круглый год были такие заработки. Заказы поступали на лето – весной, а к зимнему сезону – осенью. Это были месяцы с конца февраля по май включительно и с сентября по декабрь. Остальное время летом и в мясоед (с рождества до мясной не-

дели) подмастерье мог уходить куда ему угодно. В результате этого они разъезжались по деревням.

Нас, учеников, говорил отец, придавали двум – трем оставшимся подмастерьям, выполнявшим случайно подвернувшиеся заказы.

По прошествии двух-трех лет ученичества, то есть когда ученик поднаотреет в обметывании петель и пользовании швейной машиной, хозяин приставляет его к подмастерью в качестве помощника. За это подмастерье, в зависимости от квалификации ученика, был обязан хозяину шить одну - две вещи бесплатно, то есть заработанное учеником делилось между хозяином и подмастерьем. Отец часто говорил, что не так был страшен хозяин и подмастерье, как была страшна хозяйка.

Первые два года ученичества она была властительницей душ и телес учеников и учениц. В большинстве случаев абсолютно неграмотная баба вымещала свое недовольство и злобу на подвластных ей ребятишках. Они раньше всех должны были вставать, ставить самовар, колоть и носить дрова, топить печки. Затем бегать за хлебом и кипятком, квасом и тумаками (порченное яйцо, сваренное вкрутую) в лавочки. Поэтому все ученики жили одной мечтой, как бы быстрее наступил день, когда бы его придали подмастерью, и только с этого дня власть хозяйки над учеником прекращалась, и только с этого дня он начинал производительный труд. А сколько было темных и трагических историй с учениками, не выдержавшими двух лет ученичества. Десяти-одиннадцати летний мальчишка или девчонка ударялись в бега. Хорошо, если они могли добраться до своей деревни, а бывали случаи, когда, перебиваясь христовым именем, беглец пешком из Петербурга добирался за сотни верст до своей деревни в пошехонском уезде. Большинство же, если вовремя не были пойманы полицией и водворены к хозяину обратно, пропадало в ночлежках Гопа, пополняло шайки воришек, воров и проституток.

В шестнадцать лет отец выжил. Получив должное от хозяина и, проработав у него месяца три, он сумел сколотить и переслать отцу в деревню целых семьдесят рублей. Сумму величиной своей поразившую соседей по деревне. Эти семьдесят рублей, которые он держал в руках, казалось, оправдывали пять мучительных лет ученичества. Только поразительная бережливость позволила отцу сколотить эти деньги. Его расходы определялись в день удовлетворением минимальных потребностей.

В мастерской при приеме (или поступлении) на работу обычно достигалась такая договоренность: хозяин предоставляет кипятком, хлеб, соль. Все остальное должны ученики приобретать сами. Обед подмастерья приготавливали в складчину, она заключалась в том, что все участники отпускали на обед по десять копеек. Так собиралось рубля полтора. Хозяйка должна была бесплатно варить обед. Это обычно щи, иногда суп с мясом – во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В остальные дни – постные щи и каша с салом или растительным маслом.

Завтрак и ужин – индивидуальные. Они состояли из двух тумачков – одна копейка пара, или укусу на копейку, тогда еда приготавлилась так: укус солился, перчился и служил к хозяйскому хлебу приправой (хлеб макался и поедался). Расход на питание в день – от двенадцати до пятнадцати копеек. Больше никаких издержек отец себе позволить не смел.

Уж, кажется, велика ли складчина, когда обед готовился для пятнадцати молодцов, но тем не менее хозяйка ухитрялась на ней нажиться. Одна из хозяек, приятельница моей матери, показывая на свой золотой браслет, сказала о том, что вытащила его из чугуна на чумичке.

Летом – дома, на работе, сбежать в лавочку – босиком, зимой – домашней выделки *валенцы*. Ни на какие зрелища, театры, лакомства денег не выделялось.

Тогда и позже мне приходилось встречать знакомых отца – портных. Отец и мать ухитрились повысить свои навыки – научились кроить и шить дамскую одежду не по патронам, а по картинке. Их же товарищи не смогли преодолеть мануфактурного разделения труда и всю жизнь могли шить только штаны, салопы, пиджаки. Знакомый портной Волков был жилеточником, даже для себя покупал одежду, покупал ее и для детей своих, а жилетки он не носил.

Нельзя не упомянуть о специфическом и присущем только портновской профессии в Петербурге дне пятнадцатого августа – *засидки*. Дело в следующем. До пятнадцатого августа, когда вечерами в Петербурге еще светло, работы продолжались до сумерек, с пятнадцатого же числа становилось темнее, но подходил сезон пошива зимней одежды. Работать по вечерам уже нельзя – темно, поэтому пятнадцатого августа и явилось тем днем, когда во всех мастерских начинали работать с огнем, обычно до десяти вечера, то есть начинали по вечерам засиживаться – отсюда и *засидки*. В этот день хозяин должен был угостить подмастерьев и учеников. Покупалась водка, бутылочка дешевого красного вина, колбаса, соленые огурцы и арбуз – благо к этому времени начинался арбузный сезон.

Хозяин как бы договаривался со своими подчиненными о работе в вечернее время. После засидок над верстаком вешалась 20-25 линейная лампа на пять-шесть человек работающих, если их было больше, то ставились и дополнительные. Вокруг ламп, поджав ноги и распевая песни всех краев России, сидели и работали портновские мастеровые с шести до десяти вечера, исключая воскресенье и двенадцатые праздники, из них пасха и рождество в течение трех дней.

Хозяева не имели своего отдельного стола – ели все вместе из общей чашки на каждых семь-восемь человек. Если при этом похлебка была с мясом или рыбой, то сначала ели пусто, как в деревнях, зачерпывая сверху, а когда хозяин стучал ложкой по блюду – это значило – ешь со всем – принимались за мясо и рыбу.

Характерно, что хозяин выступал не только как работодатель, но и своеобразный воспитатель – блюститель нравственности. Вторая сторона наиболее

резко выступала у хозяев староверов. Старовером был и Иван Алексеев. Курение табака, сквернословие, пьянство и, наконец, нарушение нравственности между учениками и ученицами, мастерами и мастерицами - вольности этого рода особенно жестоко изгонялись и преследовались. Правда, и эксплуататоры эти староверы были отъявленные не в меньшей, если не в большей степени, чем православные.

Наша семья

Мать моя прошла такую же школу ученичества, как и отец. У того же хозяйчика в один год *выжились* и у него же остались работать, хотя общая грамотность у отца была выше, чем у матери – он обучался два года в церковно-приходской школе, а мать всего три недели, тем не менее, в знании жизни, практической сметливости, находчивости и в знании своего ремесла, мать не уступала, а порой даже превосходила отца.

Поженились они рано, отцу едва минуло двадцать, а матери – семнадцать.

Жить, как раньше, в мастерской они не могли и вынуждены были снять комнату в одном из домов на Лиговке. Хозяин комнаты работал сторожем на шоколадной фабрике Бликен и Робинсон. Это, по словам родителей, в первые, не оставившие в моей памяти следа, годы, позволило родным по дешевке покупать ворованный шоколад, конфеты и какао, но это счастливое время скоро для меня кончилось, и о таком я не мог потом даже мечтать.

Время тогда было таково, что *выжившийся* подмастерье, если он не спился и приобрел достаточно навыков, волей неволей сам становился хозяйчиком. Так было и с моим отцом и матерью, но с той только разницей, что примерно около пяти лет они самостоятельно брали заказы из магазина и работали, не имея ни учеников, ни подмастерьев. Протекцию для получения заказов им оказал бывший хозяин. Позже и у нас появились ученики, но, чтобы не платить в уплату налога, набирались родственники. Так и работали у отца учениками два моих дядьки, отцовы братья Степан и Николай и, несколько позже двоюродная сестра Татьяна и двоюродный брат Николай. Последний потом стал моим отчимом. Таким образом, права на содержание мастерской (патента) не потребовалось, так как жила и работала одна семья.

Квартиры на Лиговке я не помню, но осталась в памяти церковь Успенья, существующая еще сейчас.

Я хорошо помню нашу квартиру на Красносельской улице Петроградской стороны. Четырехэтажный, только что построенный и еще не оштукатуренный дом мрачного вида казался мне огромным, даже по сравнению с пятистенком дедушки. Мы жили на первом этаже, кто жил выше, не помню, но на четвертом этаже был публичный дом. Первыми моими игрушками были пивные пробки, в больших количествах выносившиеся из этого заведения. Пер-

выми скандалами, которых в моей жизни больше, чем хватало, были скандалы этого заведения.

Наша квартира - из трех комнат. Одна комната – мастерская, где царил верстак, тут же работали, обедали всей семьей, а по ночам спали ученики. Вторая маленькая комната – комната хозяев - то есть отца, матери, меня и появившейся на свет к тому времени сестренки Марии.

Жизнь идет по заведенному порядку, отклонений от наблюдавшейся жизни у Ивана Алексеева – нет. Правда, всем руководит мать. Она следит за учениками, чтобы, по выражению отца, «на собаках шерсть не били». Я кручусь около работающих, чаще всего под верстаком. Под верстаком темно. Там лежат болваны для утюжки вещей, среди них можно устроить себе дом, свой собственный. Сажу в собственном доме и слушаю песни, а их знали мои родители великое множество. Более пятидесяти пяти лет назад я слышал «Среди равнины ровныя», «Не слышно шума городского», «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Тройка» в двух или даже в трех вариантах и множество частушек, не только Ярославской и Новгородской губерний, но и многих других, так как с выходцами из многих российских губерний они жили и работали вместе в годы учения. Мать потом говорила, что это был самый мирный и дружный период жизни с отцом.

Жилье в новом, только что отстроенном доме было несказанно сырым. У Марии, моей сестры, скривились ноги – рахит. Рахит тогда почему-то называли английской болезнью. Она долго не вставала на ноги и была ползунком почти до двух лет.

Эти комнаты мы высушили, что называется, своими легкими.

Когда была работа, мы имели маломальский достаток, позволявший не думать о завтрашнем дне, и даже время от времени приобретать что-нибудь из белья для отца и матери. У отца была одно время даже хорьковая шуба, а у матери беличья шубка. Но половину года эти вещи находились в ломбарде. Кончится работа, и вещи одна за другой переключиваются в ломбард, под залог. Там они и лежат, пока не наступит для нас новое счастливое время сезона. Даже обручальные кольца неоднократно совершали путешествие туда и обратно.

Особенно тяжелым был период русско-японской войны и первой революции. Магазины не давали работы, а отец с матерью еще не приобрели достаточной квалификации, чтобы принимать заказы, как сейчас говорят, индивидуального пошива. И были дни, когда мать не знала, чем она будет завтра кормить детей. Один раз отец даже решил испытать счастья на поприще газетчика, и к его ужасу и ужасу матери, взятые им газеты не были распроданы. Эти тяготы все больше и больше давили на мать, она стала резкой, сварливой и даже истеричной по отношению к окружающим. Обладая достаточной силой воли, она не терпела никакого самовольства, в чем бы это самовольство ни заключалось, и кто бы его ни допускал. Мы, дети, а к этому времени у меня появилась и вторая сестра Анна, чувствовали себя прямо пришибленными. Ни

мы, ни ученики не имели права и возможности сказать ей хоть одно слово. Ссоры происходили все чаще и чаще. Отец стал реже бывать дома, часто пропадавал в трактирах, а это уже совсем выводило из себя мать. На плечах матери висела забота не только о своих трех детях, но и об оставшихся двух учениках, Николае и Татьяне, а также и заботы о приискании работы, а значит и средств к существованию. С присущей ей энергией и настойчивостью работу она нашла, и у нас на квартире появилось множество кусков полотна цвета хаки и целые связки колец из кожи. Мы всей семьей шили солдатские палатки. За шитье одной палатки платили что-то около десяти копеек. За день на двух швейных машинах семья зарабатывала полтора-два рубля. Но и появление заработка атмосферу в семье не исправило. Ссоры не прекращались и все чаще переходили в драку. В это время мы, дети, то замирали от страха, то с ревом бросались в ноги то отцу, то матери, умоляя их не драться и не ругать друг друга. Но это не помогало.

Как сейчас помню один случай – в рабочую пору сравнительного достатка мать шила себе, конечно с разрешения отца, костюм – юбку и жакет, и вот в одну из ссор, порожденную упреками матери о частых отлучках отца, отец со злостью схватил жакет, наступив одной ногой на его полу, разодрал пополам, а потом принялся рвать на лоскутки. Ссоры, доходившие до драк, часто происходили не только в кругу семьи, но и в присутствии гостей, которые приходили, время от времени, к нам.

Гости для нас, ребятишек, большое событие. Это значило, что мы, хотя и сидели в другой комнате, чтобы не болтаться в ногах у взрослых, и нам было приказано сидеть смирно – были свободны. О нас временно забывали, не ругали, и к нам никто не придирался. А, кроме того, нам известно было, что после гостей нам обязательно что-нибудь достанется. Я больше всего любил чайную колбасу с соленым огурцом. Но такое лакомство нам перепало только после ухода редких у нас гостей. Иногда нам доставалось и по одной штучке печенья, но чайная колбаса с соленым огурцом и сейчас для меня большое удовольствие.

Раза два в год к нам приходил мой крестный отец, достаточно крупный портной хозяйчик – Яганов. Его жена была посаженная мать не то отца, не то матери. Посаженными родителями, отцом или матерью, называли хорошего знакомого или знакомую, пожилых людей, которых перед венчанием просили замещать отсутствующих родителей молодоженов, и которые благословляли их иконой и садились за свадебным столом на места, предназначенные для родителей – отсюда посаженные. Кроме них приходил и знакомый отца, Филипп со своей женой Ольгой. Мы Филиппа прозвали Прилип, за то, что он, как сядет, так весь вечер и просидит, как прилипший, на одном месте. Пьет водку, краснеет, ничего не говорит и только при сильном охмелении, что-то невнятное напевает. Работник он, по-видимому, был неважный – всем заправляла его жена. Лет пятнадцать спустя, когда она умерла, мой отец встретил как-то в

деревне Прилипа, промышлявшего по миру «Христа ради...». На вопрос отца: «С чего это ты куски собираешь?» Прилип ответил: «Да вот – Оля умерла».

Я был рад приходу моего крестного, хотя радость была всякий раз кратковременной. Дело в том, что в каждый приход его к нам он давал мне, своему крестнику, серебряный рубль. Правда держал я его в руках минут пять-десять, так как мать, увидев момент, чтобы гости не видели, этот рубль отнимала у меня, заявляя каждый раз, что купит мне что-нибудь. Но купить это что-нибудь всегда забывала. На этот рубль наша семья могла прокормиться дня два.

Изредка и меня брали в гости, обычно к тому же крестному отцу. Гостей у него собиралось несравненно больше, чем у нас. Еще до того, как сесть за стол, мужики усаживались на верстаке играть в карты, где с азартом и дулись в стукалку. Страсти быстро разгорались. Мальчишки, там было несравненно свободнее, чем у нас, обступали игравших, а девочки слушали сплетни матерей о иногда совсем неподходящих вещах. А мы наблюдали за игрой, привыкали к весьма сальным словам и выражениям. Самое мягкое из них было таким - игрок выкидывавший даму, сопровождал ее следующей сентенцией: «А вот и наша Марюха – кверху брюхом». У нас в семье, несмотря на ссоры родителей, черные слова никогда не употреблялись, зато в таких гостях наслаждаешься бывало всякого. Уже по всему этому нас ребят в такие гости старались не брать. Общение с взрослыми в таких условиях не могло не сказаться на нравственности ребятешек. Если дома нас оберегали, то общение с достаточно «опытными» товарищами и детьми наших знакомых с лихвой восполняли этот «пробел» семейного воспитания. Взрослые называли вещи, а сын и дочь моего крестного – Колька и Танька – в свое время разъясняли смысл фигурировавших понятий. Но это воспринималось мною как что-то стыдное. Меня не привлекали даже в юношеские годы сальные разговоры, в которых прививавший рассказчик смаковал пошлости.

Однажды в деревне мой дядька Митька (я так звал его потому, что был только на два года младше его), обнаружив в чемодане дядьки Николая известного вида карточки, показал их мне, когда никого не было дома. При виде первой из них мне стало так стыдно, что я убежал. Митька потом долго просил меня не рассказывать никому об этом. Я обещал и исполнил свое обещание.

Позже, когда закончились юношеские годы, я стал смотреть другими глазами, и иногда занятно было слушать похождения товарищей на этом поприще.

Представление родителей о событиях тех лет (1904-1905) было весьма примитивным. Разговор о том, что мы япошек и шапками закидаем, повторялся и моим отцом. Отголоски революционных событий того времени в семью проникали, но я помню только кем-то принесенную рукопись-сказку, написанную на манер Конька-горбунка. В ней высмеивался некий царь и рассказывалось, как народ того царя прогнал. Мне запомнилось только окончание –

когда царь убежал из своей страны на корабль, царица уронила наследника в воду, и он был вытаскен из воды подоспевшим мужиком граблями. Я видел, что эту сказку прятали, она, свернутая в трубочку, лежала за картиной.

Говоря о революции 1905 года, мне хочется рассказать, как я от той революции пострадал. Дело было так. Мои именины – какого-то Павла – отмечались десятого января, но так как игрушек у меня не было, то задолго до именин мне была обещана и показана в витрине магазина гармошка. Ее я уже считал своей. Я с нетерпением ждал этого дня, чтобы с отцом и матерью пойти в магазин Маевского на Большом проспекте Петроградской стороны. И вот девятого января вечером, вернее часов около четырех дня, мы вышли на улицу, но фонари не горели, стекла во многих магазинах были выбиты и, конечно, магазин Маевского был закрыт. Так мне гармошки не купили никогда.

Игрушек у меня не было. Но играть надо, и я делал игрушки себе сам. Из банок из под ваксы хорошо и быстро получались весы. А раз есть весы – то я уже не парнишка – торговец. Бумажные катышки – горох, просто мелко нарезанная бумага- мука, а от покупателей отбою нет, их всех вместе с успехом заменяла сестра Марийка.

Из несамодельных игрушек мне запомнились две вещи: первая – книжка Станюковича «Севастопольский мальчик», хорошо изданная она бы принесена бабкой со стороны матери от господ, где она жила кухаркой. Я еще не умел читать и играл книжкой, а прочитал уже позже в третьем классе начальной школы. И вторая вещь – сказочная книга, складывавшаяся гармошкой, на каждой странице зверь, о котором я даже не слышал: лев, тигр, верблюд и другие неведомые, невиданные и неслыханные звери. Вот и все, что я имел от взрослых.

Я не был болезненным ребенком, но был мал и хил. Ссоры в семье, жестокий характер матери, которая считала, что лучшей методой воспитания детей являются порка и оплеухи, превратили меня и сестер в поразительно робких, застенчивых и безвольных ребят. Бывало, услышу из соседней комнаты голос матери: «Павля, иди сюда», меня сразу охватывает страх – зачем зовут, в чем я провинился, и что со мной будет. Позже и даже сейчас мне кажется, что причин наказывать нас у матери совсем не было, настолько мы были тихи, немы и робки. Но она выискивала причины, даже если их и не было, придиралась и наказывала. Бывало, стоишь в углу после того, как тебя выпорют, всхлипываешь, удерживая рыдания. Слезы текут градом, и невыразимая жалость к самому себе охватывает тебя. Надо сказать, что очень и очень рано я задумывался о том, а не лучше ли будет мне броситься в Неву. Я уже выискивал себе место, где это можно будет проделать. Но об этом следует рассказать несколько позднее.

Много позже я понял и сейчас с позиции своих шестидесяти лет считаю, что, если бы не условия моей жизни в детстве, искалечившие душу ребенка, моя жизнь пошла бы по другому руслу. Детская боязнь и страх часто сопутствовали мне в последующие годы и немало мне нанесли вреда.

Познавание жизни

Жизнь на четвертом этаже нашего дома начиналась поздно, после девяти часов вечера. Нас малышей уже укладывали спать. О жизни его обитателей я ничего не помню, хотя покрашенных и крикливо разодетых девиц я часто видел на нашей лестнице, ничего плохого не предполагая. Девицы мне казались богато и нарядно одетыми сравнительно с тем, как одевались мои родственники и знакомые.

Война и революция породили безработицу среди портных, работавших на магазины. По словам бабкиных братовой моя мать сумела найти первых заказчиц и проявила недюжинную изобретательность и вкус при подыскивании и выполнении первых работ от заказчиц. Без зависимости от магазинщиков, на некоторое время семье даже стало легче дышаться. Настолько легче, что меня, первенца, родители решили отдать учиться в гимназию. Но к поступлению в первый подготовительный класс частной гимназии нужно было подготовиться, и вот шестилетним пареньком, я начал ходить на квартиру к двум старым девам, где брал уроки по письму, счету и молитвам. Одна из дев шила пальто у моего отца. Возможно, стоимость пошива пальто и окупала мой первый курс наук. Вместе со мной эту школу посещали еще трое ребят несколько старше меня, они уже решали задачи, писали диктовки, а я преодолевал премудрость написания палочек и крючков в тетради с косой линейкой. Если счет до сотни, сложение и вычитание давались мне легко, то написание, особенно палочек, было для меня очень мучительно. Палочки выходили кривые и толстые не вмещающиеся в клетке, а страницы в тетради пачкались самым непонятным для меня образом.

Но так или иначе, к весне 1907 года меня, начищенного и приглаженного, какая-то молоденькая знакомая моей старой учительницы повела на экзамен в гимназию. Я быстро отгарабил попу «Отче наш», за что тот благосклонно погладил меня по голове, и быстро решил в тетради заданные примеры. Как обошелся экзамен по письму, не помню, но знаю, что в первый подготовительный класс гимназии я был принят. Сказать, что я был рад этому, не могу. Значительно больше радовалась сопровождавшая меня особа, которая тут же в гимназии многократно меня расцеловала. Но благим намерениям моих родителей сбыться не удалось. Когда встал вопрос об уплате за учебу в гимназии, что-то около ста рублей в год, их пыл к классической школе пропал. И я, спустя две осени, пошел в первый класс обычной городской начальной школы, в которой обучались дети петербургской бедноты.

Лето, предшествовавшее моему поступлению в школу, мы провели в Парголово, на даче. Необходимость выехать на дачу диктовалась, с одной стороны, желанием уменьшить расходы на квартирную плату, с другой, желанием вообще переселиться с Красносельской в другой дом, где бы было незастенчиво принимать заказчиц. «Наша дача» представляла собой хибарку, где имелась

всего одна комната и маленькая кухонька. Комната – десять квадратных метров, а кухня – сараюшко во дворе. Хибарка располагалась где-то на Выборгском шоссе между первым и вторым Парголово. Перед дачей располагался небольшой палисадник, в центре которого рос куст красной смородины – единственное насаждение и достопримечательность. Он памятен потому, что в один прекрасный день из-за этого куста я был дважды выпорот. Когда отца с матерью не было, я нашел небольшую полоску жести и решил, что неплохо бы из нее изготовить косу. Нашел палку и, прикрепив к ней жестянку, получил косу. Раз есть коса – нужно заготавливать сено, а где взять сено? Была трава, но ее моя коса не брала. И я решил, что сено можно приготовить из листьев смородинового листа. Я «косой» сбил все листья, сгреб их и, привязав веревочку к картонке, вывез на этой телеге «сено» за угол дома к забору. Мое трудолюбие и самостоятельность вернувшимися родителями было тотчас же оценено надлежащим образом. Меня нещадно выпороли. Но беда не приходит одна. Следом за родителями явился и хозяин дачи, и меня в наказание – показательно высекли. Это был горький день моей жизни на даче. Но он с лихвой окупился – свобода и природа сгладили первые неприятности дачной жизни.

Мы жили вблизи Шуваловского парка с его замечательными прудами, леками и горой Парнас. Пребывание в этом парке, в то время мало посещаемом, дало мне несказанное наслаждение.

Найти новую квартиру в городе оказалось не так легко, поэтому наше пребывание на даче закончилось только в октябре. Сентябрь мне памятен тем, что я с отцом и матерью часто ходил в Шуваловский парк за грибами. Росли там валуи, но будучи сваренными и засоленными, они были вполне съедобными, и мать, «пользуясь» безработицей, заготовила и засолила их несколько ведер.

После длительных поисков новая квартира была найдена на углу Спасской и Большого проспекта Петроградской стороны. Квартира двухкомнатная, окнами выходящая на обе улицы, была «выплакана» матерью у домовладельца. Дело дошло до того, что мать, будучи глубоко религиозной, прикинулась единоверцем хозяина – старообрядца. Хозяин потребовал подтверждения, что его будущие жильцы – ремесленники, находя, как видно, в этом своевременное получение квартирной платы гарантированным.

К переезду на Спасскую трое наших учеников Степан, Николай и Татьяна *выжились*. Степан женился и завел свою портновскую мастерскую. Николай, большой любитель выпить, обзавестись мастерской не смог и работал по найму у других хозяйчиков. Трезвым он был замечательным работником и скромным человеком, подвыпив же – превращался в отчаянного скандалиста, забияку и драчуна. Он нигде не уживался и долго не мог обзавестись семьей. Только под конец жизни он женился в деревне. Степан же – способный, сметливый, хитрый от рождения – имел бельмо на глазу, которое, когда нужно, прикрывал вставленным стеклышком. Даже его жена – Ольга узнала о его бельме только после свадьбы и то не скоро. Его с детства звали косым. Но он сумел дело повернуть так, что все, когда-то называвшие его Степкой- косым,

оказались в той или иной степени материально зависимыми от него. Если отец и мать к моменту переселения на Спасскую имели только одного подмастерья – Николая, то Степан имел их десятка полтора.

Разлад в семье все больше и больше усиливался, порожденный суровостью и резкостью матери, он не утихал, и отец все чаще пропадал в трактирах, начал играть на бильярде, а это еще больше взвинчивало мать. Жить им совместно стало невозможно. Мать, будучи от природы гордой, никогда не позволяла себе пойти за отцом в трактир. Это было возложено на меня. Придешь, бывало – робко и плаксиво *канючишь*, стоя у стола, - «Папка, иди домой. Мамка зовёт». Отец всегда сидел с приятелями. Иногда на мой приход хотел превратить в шутку. Сажал меня за стол, заказывал печенья или баранок. Угощая меня, он посылал меня домой, но я знал, что приди я без отца, мне будет выволочка от матери, поэтому я был непреклонен и продолжал упрашивать отца и, наконец, принимался реветь во весь голос. Отец чувствовал себя оскорбленным в глазах приятелей, но вынужден был идти со мной. А придя домой, он закатывал скандал, который заканчивался дракой и уходом отца подальше, чем трактир на Гребецкой улице, где он обычно проводил время.

Когда я поступил во второй класс, в один из январских дней 1909 года, отец, забрав кое-какие пожитки, ушел от семьи. После него осталась небольшая записка его двоюродному брату, нашему подмастерью, Николаю, с просьбой, если это будет нужно, помочь оставляемой им семье. Года через четыре отец на мое имя прислал десятку в день рождения.

Больше семья от него помощи не имела.

Теперь - о наиболее светлой личности моего детства - дяде Николае. Он появился у нас, когда мне было года три, и стал учеником. Отец и мать не могли навалиться им. Скромный, услужливый, работающий, он с лета воспринимал все указания отца или матери, особенно последней, которая в первый год его ученичества, да и потом, подавляла его своей силой, сметкой и самоотверженностью. Выросший в семье не имевшей достатка, он знал, как тяжело достаются копейки, и все усилия матери прокормить семью делала ее героиней в его глазах. Николай много возился со мной, гулял, рассказывал сказки, показывал картинки. Я настолько привязался к нему, что в период летней безработицы, когда он уезжал в деревню, не мог дожидаться его возвращения к нам.

Будучи крайне любознательным, и, не видя пользы в учении у нас, он сбегал и поступил в мастерскую Маевского по изготовлению балалаек и мандолин. Большую роль здесь сыграло желание научиться играть хоть на каком-либо инструменте. Там его поставили сразу же на работу, а не заставили нянчиться с ребятишками. Магази́нщик был богатый, что сказалось даже в том, что учеников кормили в трактире, а не в мастерской.

Кажется, ему бы там и жить, но было одно «но».

Маевский, хозяин магазина и мастерской, взял за правило за малейший изъян или дефект в работе расправляться с учениками плеткой. И вот, испытыв раз другой на себе такую систему воспитания, беглец снова, к моей радости, вернулся к нам заканчивать обучение портняжному ремеслу. Огромная любознательность, работоспособность, пылкий ум, усидчивость позволили ему быстро овладеть портняжным ремеслом, а попутно с этим и овладеть рядом других ремесел и навыков, которые он постиг самостоятельно. Он был неплохим столяром, неплохо владел искусством фотографирования, увлекался живописью (даже выписывал периодический журнал «Академия искусств на дому»), неплохо копировал акварелью картины Куинжи, Левитана, Айвазовского. Пользуясь учебными пособиями, овладел профессиями электромонтера и киномеханика, а позже, когда потребовалось, выполнял слесарные работы, был плотником, печником, ремонтировал швейные машины и ружья, чинил и выверял часы. Сам еще до революции собирал радиоприемники и ремонтировал их. Мог шить сапоги и свалить валенки. Позже он занимался садоводством, пчеловодством и разводил кроликов. Буквально не было такой вещи, которую он не смог бы починить или сделать. Если бы он поучился в школе не два года, а больше, он безусловно смог бы сделать в жизни значительно больше и был бы известным человеком. Но такой разносторонний талант, заключенный еще в условия жизни нашей семьи, так и остался самоучкой.

Чем была вызвана записка отца Николаю, трудно сказать, но вероятно, это была со стороны отца сделка с совестью. Ведь кто-нибудь должен позаботиться о нас, часть ответственности он перекладывал на Николая. Положение жены, от которой ушел муж, в то старое дореволюционное время было само по себе убийственным, а тут еще трое детей восьми, шести и четырех лет. Матери тогда было около двадцати девяти лет, а Николаю – около девятнадцати. Мать до последних дней своей жизни не могла простить отцу и при всяком удобном случае поносила его. Заявляла, что он унес с собой все ценные вещи, оставив ее с детьми без средств к существованию. Конечно, если бы не помощь Николая, семье пришлось бы хлебнуть горя, а возможно и нищенствовать. Это горе еще более ухудшило характер матери и бросило ее в какой-то религиозный экстаз. Ходила мать в разные церкви, ходила и к Иоанну Кронштадскому, ездила и в Валаамский монастырь.

Неполадки в семье, несмотря на замкнутость матери и боязнь любого постороннего человека, все более и более делались заметными со стороны. Так, однажды, жена такого же портняжки Кирияна Малышева, проживавшего где-то в Новой деревне, без особых «светских» отклонений и экивоков, заявила: «Послушай, голубушка моя, Екатерина Филипповна, ведь видим, что бьешься ты изо всех сил, тянешь дело и семейство свое. Правда, для всех трудные теперь настали времена. Разгневался Господь за грехи наши, но во всемирном существе своем, находит он праведников и посылает нам сыновей своих, испускителей грехов наших. Вот намедни сам пресвятой отец Иоанн Кронштадский прислал свое пастырское благословение на борьбу со смутой. Мой

то Кирьян записался как-то в союз Михаила архангела. Съезди-ка ты, голу-бушка, к святому отцу, припади к ногам его, покаяйся в грехах, и простит тебя Всевышний, вняв молитве сына своего Иоанна. Обратит лицо свое Вседержитель к вам, ниспошлет облегчение».

Мать все больше и больше убеждалась, что все молитвы почему то не доходят до бога. Чувствовала себя ответственной за прегрешения свои и своих домочадцев, за грех, хотя бы только словесный, отречения от православия и признания раскола в мольбах перед хозяином при найме квартиры, и бессильной перед превратностями жизни, мать отправилась вымолить у всевышнего прощения себе, наставление на путь истинный для мужа и твердо решила покаяться самому отцу Иоанну Кронштадскому.

Мольбы

По всей России, по городам, деревням, губерниям и епархиям гремело имя протоиерея Андреевского собора в Кронштадте – отца Иоанна, еще при жизни своей зачисленного в сан святых. В жизни Иоанн Ильич Сергиев (1829-1908), или Иоанн Кронштадский, пользовался славой умеющего изгонять бесов из женщин и путем накладывания рук или благословения избавлять от порчи. Ползли слухи, что это сын божий. Газеты призывали прислушаться к гласу отца Иоанна против виновников смуты. Видевшие его с благоговением вешали, что в день службы самого Иоанна Кронштадского в Андреевском соборе собиралось столько народу, что с трудом можно было передвинуться с места на место. «Когда, блестя золотой ризой с голубой вышивкой, на амвоне появлялся сам отец Иоанн, по всему храму, словно от порыва ветра в лесу, проносился сдержанный шорох. Молящиеся осеняли себя крестным знаменем. Молился и сам священник. Он был среднего роста, худощав, с русской бородой, с жиденькими волосами, выбившимися на затылке поверх рысы. Но во взгляде его светло-серых глаз было что-то суровое и настойчивое. Возглашая молитву, он как-то странно всхлипывал и произносил каждое слово резко и нервно, как будто отрывал от своего сердца. Казалось, что он беседует с живым богом, которого никто, кроме него, не видит... Помолившись, отец Иоанн скрывался в алтаре. С амвона начинал провозглашать епитимью дякон, громадный и пышноволосый. С его раскатистым басом как бы перекликался налаженный хор, наполняя храм стройным пением. Все это располагало к молитве и надежде. Но вот отец Иоанн выходил снова на амвон, стоял с минуту перед алтарем, сосредоточенно глядя на царские врата, словно вдохновляясь божественной силой. Внезапно его плечи вздрагивали. Он порывисто поворачивался к народу и, нахмутив брови, молча осматривал всех, грозный как судья. Тысячи человеческих грудей, раздавленных тяжестью грехов, переставали дышать. Становилось так тихо, как будто весь храм сразу пустел. Казалось не отец Ио-

анн, а кто-то другой, взволнованно заговорил за него, необыкновенно строгий и повелительный, не допускающий никаких сомнений: «Братия во Христе! Я – немощь, бог – сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость моя, делающая меня блаженным. И вы станете блаженными, если избавитесь от грехов своих. Будьте искренни на исповеди. Господь наш бесконечно милосерден - он все простит. Кайтесь в содеянных вами грехах...». Он замолкал и, ожидая покаяния мирян, стоял в такой позе, словно приготавливался взвалить на свои плечи непомерную тяжесть чужих преступлений...».

Что кричала мать в общем безумстве коллективной исповеди? Никто не знает, да и она сама в экстазе религиозного исступления навряд ли отдавала себе отчет в истерическом покаянии. Были ли это проклятия в адрес отца? Покаяние в грехопадении и самоунижении, обиды на детей, судьбу?... В общем хоре рыдающих, воющих и выплеснутых из людских душ мучительных воспоминаний, боли и преступлений – все это смешивалось в общем гуле рыданий, вскипало внизу и висело где-то под куполом собора.

Но это не помогло. Мать делалась все более и более агрессивной и непримиримой. Казалось порой, что она вступила на путь религиозного подвижничества. Она раскаялась. Она получила отпущение грехов, но она же не должна допустить и должна искоренить грехопадения других и их прегрешения. Обстановка в доме делалась невыносимой...

После смерти Иоанна Кронштадского мать решила совершить паломничество на остров Валаам.

Недалеко от Тучкова моста, у приткнувшегося к берегу дебаркадера, весной, летом и осенью, то есть пока шла навигация, собирались большие группы разношерстно одетых людей, это собирались группы странников по святым местам. Среди пилигримов сновали какие-то личности в странной стилизованной монашеской одежде-форме «под флот». Личности в небольших колпачках с крестиками с одинаковой резвостью встречали и одиноко бредущего старика и подъезжающего на лихаче или в собственной карете странника, это были своеобразные экскурсоводы-организаторы начала XX века.

Паломников обслуживала специальная грузопассажирская линия Онежского пароходства, фактически принадлежавшая Валаамскому монастырю. Линия Петербург – Петрозаводск была довольно прибыльной, и владельцы заказали английской фирме «Докард» постройку двух судов, впоследствии получивших имена «Апостол Петр» и «Апостол Павел». Фирма выполнила все пожелания владельцев, и в 1906 году суда своим ходом пришли в Россию. Широкие, с большими бортовыми гребными колесами, при просторных грузовых трюмах, суда имели осадку не более одной сажени. Мощные паровые машины обеспечивали скорость свыше двадцати пяти верст в час. Скорость, которую имели даже не все военные корабли. Большая ширина судов делала их мало подверженными качке, что привлекало пассажиров из обеспеченных классов. Пассажирские салоны находились внутри корпуса и только на главной палубе. На-

верху не было никаких надстроек – сплошная прогулочная или церковная палуба для прогулок и молебствий в ходе странствия, только труба да штурвал для рулевого одиноко возвышались над ней. При входе на главную палубу по трапу-сходне паломников встречала большая икона шефа-апостола, на флагштоке развевались государственный трехцветный, цветной пароходства и с крестом и косицами церковный флаг, вроде хоругви.

Газеты и молва настойчиво рекомендовали пользоваться именно этими судами. «Апостоль» (Петр и Павел) были своеобразными подвижными отделениями Валаамского монастыря. На них не только перевозили пассажиров, но и проводилась большая подсобная работа по подготовке мирян к восприятию благодатей, ниспосланных богом островному монастырю.

На группе островов в северо-западной части Ладожского озера, а именно на острове Валаам, еще в 992 году был основан православный монастырь. И хотя его устав был не очень строг, он пользовался большой славой, своей древностью, своими святыми, подвижниками и отшельниками. Веками утверждали, что господь возносит временами монастырь на небеса, закрывая его место на воде густыми туманами. Приводились многочисленные свидетельства очевидцев, видевших чудо возвращения островов на землю при приближении особо праведных лиц. В этих случаях молебствия проводились прямо в море (как называли бескрайние просторы Ладожского озера). При каждом случае «вознесения островов» (сильной рефракции), а также блуждания в тумане оба «чуда» фиксировались в вахтенном журнале судов, как момент начала молебствия. Паломникам же и желающим выдавались особые свидетельства на бланках Онежского пароходства примерно такого содержания: «Пароход «Апостол Павел» при следовании из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, тако-го-то числа, месяца и года от рождества Христова: При подходе к острову Валаам наблюдалось сильное поднятие островов над водами. Капитан Х.». На бланке оставалось место для подтверждающего свидетельства: «факт ниспосланного нам чуда Господня свидетельствую с приложением святого креста, иеромонах Ф.». При сильных туманах в осеннее время текст свидетельства гласил: «Начался благодатственный молебен по случаю скрытия святой обители от глаз силой господней».

Жизнь от поездок матери не менялась. Нет, мать не смирялась, не гнулась, она по своему яростно боролась за жизнь всеми возможными по ее убеждению средствами. Не жалела себя, да и нас тоже. Ходила она в разные церкви. Таскала и нас. Заставляла вместе с собой на коленях перед иконой отбивать поклоны и возносить молитвы всевышнему. Со временем она привела и меня в какое-то полумистическое состояние.

С Николаем она сошлась, пожалуй, только перед началом войны 1914 года. Я понял это тогда, когда он, получив повестку, ушел на призывной пункт, и я увидел, как горевала и убивалась мать, ожидая мобилизации. Но к нашему счастью, Николая признали негодным, и он окончательно стал жить в семье на правах моего отчима.

Злые языки поговаривали, что уход моего отца и его записка Николаю – следствие близких отношений его с матерью, но я никогда не слышал от отца даже намека на это и насколько я помню, до 1914 года мы дети жили и спали в одной комнате с матерью.

Мы многим обязаны Николаю. Он примирил мать с мыслью о том, что произошло, и, в меру своих возможностей, старался уменьшить ее придирчивость и жестокую требовательность к нам. Но это ему не удавалось. Он сам порой переносил жестокие упреки с ее стороны, но, будучи от природы мягким и слабовольным человеком, сносил их беззлобно. Во время мировой войны заказы на шовив почти прекратились, Николай устроился на курсы электромонтеров-киномехаников при городской управе, с успехом их закончил и поступил механиком в синематограф «Венеция», помещавшийся на Зелениной улице. Там он работал в будние дни только по вечерам, поэтому он успевал днем портяжить, а вечером показывать туманные картины. Весьма неплохой живописец, он для синематографа писал рекламы. По воскресеньям Николай и я отправлялись в солдатские казармы на острове Голодай к знакомому солдату. Николай фотографировал солдат, а я сидел на ящике с кассетами, записывал фамилии заказчиков и получал с них задаток. Так за день делалось до тридцати снимков, которые за неделю обрабатывались и на следующее воскресенье вручались. Недостатка в заказах не было. Материальное положение семьи заметно улучшилось.

Моральное состояние матери было по-прежнему плохое, так как в глазах всех знакомых она жила, как говорили, вне закона, а для развода нужно было иметь крупное состояние. Без денег, и немалых – развод был совершенно невозможен. Только после революции они с Николаем смогли оформить их связь, и осенью 1918 года был даже совершен обряд венчания на родине Николая, в деревне Новинка, что в пяти верстах от Фоминского.

Школьные годы

Обучаться в гимназии мне было не суждено. Я был зачислен в школу на Гребцкой улице Петербургской стороны. О первом периоде обучения в школе я мало, что помню. Помню, что от родителей требовали, чтобы ученики приходили в школу в серых с напуском рубашках – чтобы не было видно грязи. Учительница, Анна Александровна, как и все учительницы нашей школы, ходила в белом халате (в каких сейчас ходят врачи) и была хромой.

Я был тихий, дисциплинированный и хорошо успевающий паренек. Поступая в школу, я уже умел считать, читать и даже писать. Школьная премудрость, исключая чистописание и грамматику, давалась мне легко. Предметом моих мучений было письмо. Писал я, как говорили отец и мать – коряво, то есть грязно, некрасиво и в полном противоречии с правилами и законами кал-

лиграфии. Всегда делал множество орфографических ошибок, причем глупых – часто пропускал буквы, иногда вместо одной писал, да и сейчас пишу другую. Вместо б пишу д, или наоборот. А ведь грамматические правила знал назубок.

В школу старался приходиться, как можно раньше. Утром дома выпивал стакан чая с куском ситного, получал на завтрак в школе три копейки для покупки булки. Но в булочной, наряду с запахом и нужной булкой, были конфеты, пряники и пирожные – так много соблазнов, которые нам дома не перепалили. Как тут удержаться и не купить вместо булки пирожное, благо оно тоже стоило три копейки. Покупаешь его и по дороге в школу съедаешь. Но вот болящая перемена, ребята достают из своих мешочков приготовленные заботливыми родителями завтраки. У кого булка с маслом, у кого с колбасой или даже с сыром. А я сижу и глотаю слюнки. Даю зарок, что завтра обязательно куплю себе булку, но приходит завтра и с ним пирожный соблазн и снова на большой перемене – угрызения совести и желудка. И так в течение многих и многих дней.

Друзей в школе у меня не было. Я был тих и скромн. Обычно после школы шел прямо домой, пригласить кого-либо из ребят я даже подумать не мог. Часто от шума и забот болела голова, и учительница Анна Александровна отправляла меня домой с нянечкой – школьной уборщицей.

Подошла весна 1912 года, а с ней и окончание начальной школы. Мать задумывалась о перспективах моей дальнейшей жизни. Обучать портняжному ремеслу меня она не хотела, так как знала, что не всегда у портного есть работа, а значит и хлеб. Изю всех ремесел ей больше всего нравилось ремесло сапожника. Сапоги носят все, они снашиваются – дырки получаются в любое время года, а значит и в любое время года сапожник не будет без работы. Волновало ее одно - где найти такого хозяйчика, который взял бы меня в обучение. Уж очень я был мал ростом и хил. О другой карьере своего сына она мечтать не могла. Говоря о чистой работе, она завидовала почтовым чиновникам - сидит за столом, выглядывает в окошечко, продает марки и со стуком ставит штамп на заказные письма. Ни пыли тебе, ни грязи. Но мечтать о такой карьере для своего сына она тогда не могла.

После рождественских каникул в школе было правило – каждый ученик на школьной елке получал подарок стоимостью в двадцать копеек. А мне, как наиболее успевающему ученику, подарили электрический карманный фонарик с лампочкой и батарейкой, я полагаю, что копеек сорок к казенным прибавила моя учительница Анна Александровна. И так, после каникул, она спрашивает меня однажды: «Ну что, Павлуша, будешь делать после школы, что думают родители?» Я сказал, что мама хочет отдать меня в ученики к сапожнику. «Ну куда тебе, ты еще мал для обучения ремеслу, тебе надо учиться дальше. Присудь о направлении тебя в высшее городское начальное училище. Обучение там бесплатное. Покупать нужно только учебники. Я напишу твоей маме записку, пусть она придет ко мне в школу». И действительно, дает мне на сле-

дующий день записку. Пришел домой. Подаю матери записку и тут же слышу: «А ты что в школе наделал? Смотри, шкуру спушу, если что!» Еле, еле удалось втолковать матери, что ее вызывают совсем по другой причине. Поговорив с Анной Александровной, и польщенная хорошим отзывом обо мне, а тем более, что учительница ей намекнула, что после училища можно будет поступать даже на почту, мать дала свое согласие на обучение в школе еще на протяжении четырех лет. Я этому не был рад. Мать же, загоревшись желанием поместить меня в высшее начальное училище, с этой поры ежедневно напоминала о необходимости во что бы то ни стало в это училище попасть. «Смотри, если в училище не попадешь – заporю!» И с этих дней страх обуял меня.

Из тридцати двух человек нашего класса, по словам Анны Александровны, в училище могут попасть не более трех-четыре человек, наиболее успевающих и примерных. У меня все было хорошо. Счет и другие «науки» я брал природной сообразительностью. Примерность была вколочена в меня ежедневными порками и ежеминутными криками. Но с письмом было плохо. Я знал, что нужной оценки на экзаменах по русскому языку, я не получу. Исправить же свой почерк я был не в состоянии.

Наступили экзамены. Диктует нам и принимает работы учительница из другого класса. Я вижу, что она ко многим подходит и многим исправляет ошибки. Я хочу, чтобы она подошла и ко мне. Но нет, не подходит. Так я и сдал свою диктовку непроверенной и неисправленной. Я знал, что без ошибок она не могла быть, что написана была некрасиво и грязно, но лучше всего я знал, что домой приходить не стоит, если в училище не попаду. Что делать? Куда деваться? До сообщения результатов оставалась неделя. Что будет, если меня не примут? И вот стою я на Тучковом мосту, вглядываюсь в воду и живо представляю себе, как, перепрыгнув через перила, я лечу в воду. Мне казалось это лучшим исходом. Я уверен, если бы в этом возрасте дети могли сесть, то я бы обязательно поседел.

И вот наступило утро дня, когда к девяти часам надо было идти в школу за результатами. Я пришел в восемь, и, стоя на крыльце у запертых дверей школы, вглядывался в темное стекло и плакал. Слезы против моей воли текли по щекам. «Ты чего, Коновалов?» - спрашивает вышедшая из-за двери нянечка – школьная уборщица, отводившая меня несколько раз домой, когда у меня болела голова. «Да вот, не знаю попаду ли я в училище», - говорю я. «Да чего же ты, малютка моя, плачешь. Вот слушай, вчера принесли к нам из училища четыре бумажки и в одной из них написана твоя фамилия. Так что плакать нечего – учиться будешь». В девять часов вышел к нам директор и зачитал список принятых в Петровское училище. Моя фамилия стояла на четвертом, последнем месте среди учеников нашего класса. Итак, к великому моему счастью я оказался в числе попавших в высшее городское училище с четырехлетним обучением, размещавшееся на Малой-Посадской улице Петербурга.

Как пришел домой, не помню... Гора свалилась с плеч. Мать сказала: «Ну что ж, придется кормить тебя еще четыре года, зато в люди выйдешь... Может,

почтовым чиновником станешь. Думаю, что заботы, труды и хлеб матери не забудешь...»,

Товарищами по учебе в школе, носившей длинное довольно гордое название – городское высшее начальное училище - были дети мелких лавочников, кустарей и приказчиков. Все мы были равны и неразличимы в общей массе. Если и было различие, то только по числу записей в кондуите. Конduit – это такая маленькая книжечка, в которую любой преподаватель мог записать все, что он считал нужным сообщить родителям владельца кондуита, от неуспеваемости до прегрешений более важных. Мой конduit в течение всех лет обучения был чист.

Одна из особенностей училища, сразу бросающаяся в глаза, была в том, что в сапогах нас в помещение не впускали. Каждый ученик должен был иметь свои домашние туфли. Туфли одевались перед началом занятий и после их окончания укладывались в мешок и вешались на крючок в раздевалке. Первые две недели все в училище щеголяли в новых туфлях, но затем они по неизменным законам существования материи из вещей в себе превращались в вещи для нас, и, что было уже новым в классической философии, в вещи против нас. Нужно пояснить это положение. Через две недели все туфли превращались в опорки со сбитыми носами, стянутыми далеко назад задниками, и почему-то увеличивались в размерах. Ходить в них можно было только, как на лыжах, засунув пальцы ног как можно дальше в носки туфель и двигая ногами только вперед. Поднять ногу или попятиться – мы не могли, все попытки проделывать это заканчивались потерей, если не обеих, то одной туфли обязательно. Но мы были мальчишками и, даже я, забитый в семье, иногда пытался побегать, как все, на переменах. Вот в это время нас и поджидало возмездие за легкомыслие. Возмездие обычно исходило от одноклассников или старших. Спортивным интересом было ухитриться, не потеряв своей туфли, наступить на задник туфли ученика, лучше всего бегущего, и тем самым свалить его на пол. Младшие и одноклассники так шутить со старшими остерегались. В противном случае вступал в силу закон стаи – «наших бьют». Этот закон действовал тольковширь и вниз, но никогда вверх. Паркет в классах и коридорах был сохранен и постоянно натерт шлепающими в опорках учениками. Пытались мы и покататься на скользком паркете, но горе было тому, кто в снующей толпе терял свою туфлю, ее можно было только обнаружить, и то не всегда, после звонка, когда все разбегались по классам, а классные наставники записывали в кондуиты, плачущим неудачникам замечания – «Вел себя недостойно, потерял туфлю, опоздал на урок». Паркетные полы были для меня большой неожиданностью (живут же люди!) и стали привычными только после революции.

Из учителей памятными остались только двое: учитель геометрии, он же учитель физики, высокий, худой и статный седой великан, отличавшийся необычной строгостью и своеобразной руганью, которой он осыпал неуспевающих по его предметам учеников: «Дурак, болван, дурррра баба,...». Его боя-

лись и потому геометрию и физику знали лучше, чем любой другой урок, все, даже всем известные лентяи и прославившиеся в училище тупицы. Второй - был немец Макс Юльевич – добрейший и скромнейший человек и, наверное, потому немецкий язык никто не принимал всерьез и следовательно – не знал. На его уроках обычно «дым стоял коромыслом», каждый делал и вытворял все, что хотел.

В те годы я обладал хорошей памятью и, прослушав один раз материал на уроке по географии, истории, закону божьему и другим, я не нуждался в их приговлении дома. Немецкий, как я уже говорил, никто не знал и не учил, зато математику, геометрию и физику знали все и готовили уроки добросовестно. Легко запоминались басни и стихи, но читать с выражением считалось в нашей среде ниже собственного достоинства. Письменные уроки я не любил. Чем больше старался, тем хуже получалось. Мысль опережала скорость письма, получались пропуски, проглатывание букв и невообразимое их искажение на бумаге.

Запомнился мне и директор училища Павел Иванович, хотя он у нас и не преподавал. Как я теперь стал понимать, он любил нашу ребятню и позволял себе пошутить и, можно сказать, слегка повозиться с нами. Но мне пришлось не по душе его шутки, когда он, выхватив меня из толпы присмиривших в его присутствии учеников, засовывал меня к себе под мышку и смеясь, называя меня карманником, пронесил по коридору. Он ничего плохого не хотел этим сказать, но в нашей среде, и особенно дома в словах матери, это было одним из синонимов вора, и поэтому я озлобился против директора.

С осени 1912 года - я ученик городского училища, дома же все по-прежнему: поиски заказчиков, *выползывание* на коленях перед заказчицами во время примерок, посещение церкви и молитвы, потому что так хотела мать. Я тоже уже умел кое как строчить на швейной машинке, выполняя несложные и неброские в глаза работы. Сестренки тоже не сидели без дела. В это время Николай уже настолько овладел искусством фотографирования, что подрабатывал фотографом в саду Народного дома графини Паниной. Я посещал библиотеку этого Народного дома, с легкой руки моей старой учительницы Анны Александровны. Читальня библиотеки была открыта с двух часов дня до шести вечера. После шести часов заходить в залы *Нардома* можно было, уплатив десять копеек. За эту плату посетитель мог пройти в зал аттракционов и похотеть над собой у кривых зеркал; за отдельную плату мог в тире пострелять из духового ружья, стоя посмотреть серию дивертисментов, исполняемых акробатами, фокусниками, куплетистами. Заплатив еще десять копеек, желающий мог купить нумерованное место на галерке и прослушать оперу или посмотреть драму. В *Нардоме* я мечтал посмотреть «Страшную месь» Гоголя, о которой ходили легенды не только среди мальчишек, но и среди взрослых. Содержание повести дополнялось таким количеством событий, такой

чертовщиной, что понять, что именно происходило на сцене, было невозможно. Всем было ясно: посмотреть хочется, пережить ... не дай бог!

О драматических спектаклях я уже имел представление, так как в Петровском саду Санкт-Петербургского попечительства о народной трезвости, что на Петровском острове, на берегу Ждановки в летнем театре на эстраде показывали на ура патриотические спектакли «Купец Иголкин», «Солдат Василий Рябов» и прочие. Об этих выступлениях заранее оповещали афиши вроде: «Комическая пантомима. Фокусник Козюков. Ручные медведи. Спешите видеть !!!».

Финансовые затруднения, заставлявшие больше пользоваться рассказами о спектаклях, чем смотреть их, заставили меня и еще одного читателя библиотеки решиться на экономию гривенника путем тайного проникновения на галерку зрительного зала *Нардома*. Решено и сделано. Мы с ним, то есть с читателем библиотеки, вместо того, чтобы покинуть Нардом в шесть часов, забрались на галерку, и, пользуясь темнотой в зале, притаились под стульями. Сидели так часа полтора и, как только капельдинеры открыли двери и толпа, скопившаяся у них, устремилась в зал, мы «вынырнули» из под стульев и уселись в центре первого ряда. Было все превосходно видно и слышно, и мы чувствовали себя на седьмом небе, предвкушая предстоящее удовольствие – увидеть захватывающее зрелище. Наконец, заиграла музыка, открылся, а вернее, раздвинулся занавес, и мы увидели артистов, которые почему-то не говорят, как положено людям, а поют. Понять ничего не можем. Пение, доносившееся со сцены, было совсем не похоже на то, которое мы слышали дома, к которому я привык, а некоторые песни даже полюбил. Мы сидим, хлопаем глазами, ничего не понимаем и жалеем, что претерпев большие муки, сидя под стульями битый час, вынуждены терпеть совершенно неинтересный для нас спектакль. Кто-то из менее счастливых зрителей, не успевших занять сидячие места, завидев наши муки предложил нам: «Мальчики, уступите нам ваши места и мы дадим вам на кино по пятиалтынному». Мы, конечно, согласились и, получив по пятнадцать копеек, были безмерно рады, что наше сидение под стульями оказалось ненапряжным. Выйдя, мы прочитали на афише, что в тот день давали в театре «Травиату». Так я первый раз попал на оперу.

Среди повседневности, окружающей растущего паренька, яркими вспышками запоминаются вроде бы незначительные моменты. Так и у меня в то время были два запавших в память момента.

Один раз, вылетая из дверей училища вместе с толпой таких же, как я, спешащих по своим делам мальчишек, я услышал за спиной вопрос: «Мальчик, почему вы толкаетесь?», оглянувшись, увидел двух девчонок возвращавшихся, как видно, домой из расположенного рядом епархиального училища. Девчонками я не интересовался до этого, но тон их поразил меня. Он был не только беззлобен, но и сопровождался улыбкой, и было еще что-то неуловимое в интонации. Я, конечно, ничего не ответил – «Не так воспитан!». Не убавляя шагов, я пошел дальше, но сердце мое почему-то ликовало, может

быть, от неслыханного по моему адресу обращения ВЫ, может быть, от девичьей интонации. Я несколько раз пытался встретить этих девчонок, но напрасно.

Еще один случай. Как – то в трамвае мальчишка, как видно обидевшись на меня, заявил: «Дядька, чего толкаешься?». Я был обрадован, меня признали взрослым, я уже дядька!

Петроград 1914 - 1917

Празднование трехсотлетия дома Романовых в моей памяти не оставило ничего. Глухо, через религиозный дурман, доносились в нашу семью, занятую борьбой за выживание, события предвоенного лета. Почти незаметно для меня пронеслись слухи о новых беспорядках, расстреле за Нарвской заставой третьего июля 1914 года рабочих Путиловского завода. Район был не тот, да и среда не та. Больше говорили об убийстве в Сараево наследника престола Австро-Венгерской империи эрцгерцога Фердинанда и его жены сербским студентом. Но все затмила объявленная 15 июля 1914 года всеобщая мобилизация. Николай получил ту самую повестку, о которой я уже упоминал, явиться в воинское присутствие на предмет прохождения воинской повинности. Это был ошеломляющий удар по семье. Мать, ломая руки, бросалась из угла в угол, обнимая девчонок и бросаясь в ноги Николаю, причитала над ним, как над покойником. На следующий день, предварительно выпив два стакана табачного настоя, он ушел. Но, даже без табачного зелья, его признали негодным подчистую.

Странная была Петербургская зима 1914 года. По городу ползли слухи, кое-какие из них попадали в газеты. У молочницы в Лахте корова принесла теленка о трех головах. Вечером шли через Неву два плотника, а из полыньи высунулась страшная харя, фыркнула и сказала человеческим голосом, что в скорости мир ужаснется – плотники не слышали, потому как на карачках еле добралась до берега, перепуганные насмерть. Еще рассказывали о хвостатой звезде – комете, которая вот-вот врежется в Землю, и многим тогда будет каюк. Нищие и калеки, прихожане собирались на папертях и толковали, что все это не к добру, быть великому мору, а может, и приходу антихриста, так что в самую пору - позаботиться о спасении души.

Мировая война, разразившаяся в 1914 году фейерверком манифестаций, молебнов и крестных ходов, привела к разрушению привычного ритма жизни. Часть заказов на пошив была сразу же ликвидирована, а потом заказы сошли почти на нет. Снова, как в Японскую войну, мать бросилась доставать через вторые и даже через третьи руки, работу по пошиву больничных халатов. Платили мало. Чтобы совсем не разориться, надо было находить новые средства к существованию. И снова выручил Николай.

Когда начинаются большие перемещения людей, да если это связано с перодеванием, да еще с угрозой стать героем или не вернуться совсем, тогда люди начинают фотографироваться. Глядя на фотографию, взбадриваешь себя и успокаиваешь близких, вот мол и я рядом с вами. Этим мы и начали пользоваться с Николаем, фотографируя солдат в их казармах на острове Голодай. У нас даже со временем появилось и фирменное паспорту с тиснением, правда не золотым, но все же с тиснением на лицевой стороне и даже с указанием адреса «Фотография Н. Я. Смирнов. Большой проспект. Петроградская сторона». С началом войны немецкое звучание названия столицы было заменено на русское, вместо Санкт-Петербурга стал Петроград, а отсюда и Петроградская сторона. Недостатка в заказчиках не было. На подклеивание паспорту и фотографий были привлечены даже девчонки (сестры).

По вечерам Николай проектировал фильмы в кинематографе «Венеция». Аппаратура была несовершенная, лампа угольная дуговая, пленка, передвигающаяся с валика на валик зубчиками по перфорации часто, рвалась. Заметив это, Николай сделал вывод из своих наблюдений, что, если поставить небольшой щиток перед вторичным уходом пленки на шестерню, то он (щиток) будет надежно снимать с зубцов отверстия перфорации и обрывов пленки не будет. Николай прикинул, что и как, и установил в аппарат отбойный щиток. Дело пошло, как по маслу. Щиток снимался с аппарата при смене бобины и не мешал обслуживать аппарат дальше, как положено, конструкция аппарата видимых изменений не претерпела.

Война продолжалась. На уроках пения в училище мы продолжали учить и петь гимны: в первую очередь Российский: «Боже царя храни...», затем союзников, Английский: «Правь Британия над морями...», Французский и даже Черногорский, благо жена верховного главнокомандующего Николая Николаевича была Черногорской принцессой и отличалась необычайной красотой. Нам, мальчишкам, нравились – особенно патриотизма я среди своих сверстников не видел. Никто из нас не только не бегал на войну, но даже и не собирался, хотя в гимназиях, там учился совсем иной контингент, такие случаи были. Открытки, картинки и марки военного времени воспевали патриотизм, так, изображался молодцеватый казак Козьма Крючков поддевшим на свою пику чуть ли не дюжину немецких солдат. Незаметно прошло и превращение пароходов «Апостол Петр» и «Апостол Павел» в тралщики и поднятие на них Андреевского флага.

Война продолжалась, и к нам стали заходить солдаты-земляки, проходившие службу и обучение в Петрограде. Они не только обеспечивали нам клиентов на фотографирование, но и рассказывали о своей солдатской службе, о разгроме где-то в мазурских болотах двух армий Самсонова и Рененкампа. От них мы узнали, что мой дядька, отцовский брат Федор попал в плен где-то в Восточной Пруссии.

Я в промежутках между работами - запоем читал. Наряду с приключенческой литературой, начал читать и классиков, особенно отыскивая места с описаниями взаимоотношения полов. Красоту языка и описание природы я тогда, если и воспринимал, то безотчетно.

Работать в будке киномеханика для парня моих лет было престижно и интересно. Перематывая ленты, я находил время, наблюдая за работой Николая, не только учиться работе киномеханика, но и наслаждаться содержанием прокручиваемых лент и дивертисментов, бывших почти обязательными в «престижных» синематографах. Синематограф «Венечия» считался престижным. Будка механика была отделена от зала - «Не то, что у других!» В зале сам хозяин расставлял стулья и усаживал важных на его взгляд зрителей. У самого экрана стояло пианино, на котором тапер наигрывал, следуя за содержанием фильма, ту или иную мелодию, которую он сам и выбирал. Хозяин синематографа стоял в зале и давал пояснения, расставляя акценты по ходу картины, являясь как бы прообразом современных комментаторов футбольно-хоккейного направления. Дивертисменты – это эстрадные номера, которые по два-три ставились в зале перед началом сеанса. Они привлекали зрителей и позволяли тянуть время, если зритель не торопился заполнить зал. Исполнителями номеров были по преимуществу певцы народных песен, акробаты и так называемые куплетисты. Из окошечка кинобудки я пересмотрел в те годы почти всех представителей эстрадного жанра тех лет, которые долгое время выступали и на советской сцене. Тогда были молодыми знаменитые артисты Хенкин, Утесов, Илья Набатов,...

В то дореволюционное время существовало несколько видов среднего образования. Одним из них была гимназия. Как система среднего образования гимназия появилась в России в начале XIX века для детей дворян и помещиков. Гимназические программы имели языковой наклон и почти не имели естественных наук. Гимназия давала прямой путь к поступлению в университет, и она была защищена целым рядом положений, традиций, и особенно ценой за обучение, от проникновения в нее «кухаркиных детей». Однако, жизнь брала свое. Развитие капитализма в России потребовало большего количества грамотных людей, и не только грамотных, но и с хорошей математической подготовкой, с умением разбираться в естественных науках, с понятием о счетоводстве и бухгалтерии. Так были открыты реальные и коммерческие училища. Реальные училища имели тот же срок обучения, как и гимназии. Окончившие их имели право занимать не только должности чиновника почтового ведомства – голубая мечта моей матери – но позволяли держать экзамены в технические высшие заведения. Очень важным для нас оказалось положение, приравнивающее городские училища к соответствующим классам реального училища. Так, после четвертого года городского училища я получал право поступать в пятый класс реального училища.

Приближалось время окончания высшего городского начального училища. Оно приближалось неотвратимо, и я начал снова подумывать, а не стоит ли

мне покончить жизнь на этом этапе в преддверии экзаменационного краха и дальнейшего безвыходного положения для меня. Последний год в училище для меня стал особенно памятным. Это был кризисный год. Что-то подломилось в моей психике, а значит и в моей духовной жизни. Я был абсолютно одинок, у меня не было ни одного друга, с которым бы я мог обменяться мнениями. В семье, как меня давно уверили и продолжала уверять мать, я был дармоедом и нахлебником. Получить от матери затрещину я мог не только за проступок или за слово, сказанное не к месту, но и за просто не понравившийся ей мой взгляд. Возможно, у нее возникла в тот период ненависть ко мне, к моему взгляду и поведению подростка, пытающегося начать разбираться в хитросплетениях и лабиринтах житейских ситуаций. Возможно, тут сказывалось и то, что с годами она болезненно стала чувствовать и это стала замечать по окружающим, что она стареет и что она на много лет старше своего молодого мужа. Я же все больше и больше стал замечать в себе и в людях по преимуществу наиболее отрицательные стороны. Все стало казаться мне погрязшим в грехах и пороках. Все во лжи, лицемерии, в жестокости, в стремлении урвать что-либо со стороны, казалось были готовы идти по жизни, растаптывая тех, кто послабее, то есть проходить путь, чтобы «выбиться в люди». И мои мысли повернулись к Богу.

Раньше в церковь я ходил по принуждению матери. Ей, кроме самого факта поклонения богу, как видно, нужен был и свидетель ее усердия в замалывании прегрешений. Она таскала по церквям меня, сестренки по «божественным» оценкам казались ей мало авторитетными. Молитвы, заученные годами и на уроках закона божьего, я отбарабанивал механически, а по утрам, если мать не видела, я совсем не молился. И вдруг такая перемена. Я обращался к богу со слезными жалобами на свою жизнь, на свое одиночество и на свою никчемность. Я ходил к обедне и ко всенощной не в церковь, а в часовни. Часовен, облюбованных мною, было две. Одна при входе в ограду Введенской церкви, а вторая у домика Петра первого. Первая была расположена возле дома, а вторая – недалеко от училища. В одну я заходил по дороге в училище, а в другую после уроков по пути домой. В тот год я был истинно верующим. Мне было несъедно, стоя на коленях, плакать крупными и горячими слезами и, не читая никаких молитв, просто думать про себя: «Господи, посмотри на мою окаянную горькую жизнь, сделай так, чтобы мне легче жилось и дышалось». Я не просил у бога никаких особых земных благ. Я просил того, чего и сам не знал и не понимал. Просто я чувствовал, что, выплакавшись, мне делалось светлее и легче. Особое волнение у меня вызывали слова Евангелия, читаемые почти всегда во время молебна в часовне домика Петра первого, где говорилось: «Придите ко мне все страждущие и обремененные, аз упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток есть и смирен сердцем» или «Придите и приемлите, позовите и отверзите вам». Всегда эти слова вызывали у меня плачь и слезы. Мысленно, и конечно про себя, я часто напевал молитву: «Кресту твоему поклонимся, владыко..» или читал молитву

Ефрема Сирина «Господи владыко живота моего...». Слова этих молитв вызвали у меня в сердце чувство умиления, жалость и презрение к самому себе, то есть самую отвратительную из всех жалостей.

Но время шло, и к моему ужасу экзамены в училище неотвратимо приближались. Летом 1916 года на выпускных экзаменах я по всем предметам получил хорошие оценки, исключая оценки по немецкому языку. На экзамене, когда я был вызван для ответа и мне предложили прочитать и перевести один из маленьких рассказов учебника Гезлера и Пецольда «Охотник и утка», я начал с того, что испугался и понес такую ахинею, что экзаменаторы, а большинство их было незнакомыми, впали в некий транс, сразу же, как я перевел название рассказа как «Охотник и свинья». Последующее мое довольно настойчивое и продолжительное молчание было прервано, и именно оно дошло до моего сознания, как требование проспрягать глагол «быть». Это наш славный Макс Юльевич бросился, пока возможно, спасти меня. Я оттарабанил навязшее спряжение и тем спас себя и Макса Юльевича от больших неприятностей.

Экзамены закончились успешно. На душе полегчало. Один из преподавателей, просматривая мои оценки, порекомендовал мне подать заявление для поступления в пятый класс реального училища. Я заявление подал, хотя прекрасно знал, что учиться дальше мне не придется. Заявление написано, подано, рассмотрено, и я оказался принятым в пятый класс, но не реального училища, а какой-то гимназии.

Вступление на трудовой путь

Отбросив всякую мысль о продолжении образования в гимназии, я пропел дня два надписанием прошения его высокопревосходительству господину директору Петроградского почтамта. Прощение должно было быть написано с начала и до конца собственноручно. Вот это и послужило причиной моего потения. Прощение должно быть написано блестяще, то есть грамотно, складно и красиво, зато оно и называлось прошением. А я писал неряшливо, криво и косо, совсем детским почерком. Отнес я свое прошение и стал ждать. Ждать мне пришлось недели две, пока мне письмом не сообщили, чтобы я предстал перед своим будущим начальником в экспедиции почтамта по сортировке писем. Явился вовремя. Был принят. Начальник экспедиции показался мне чиновником высшего класса. Имея перед собой мое прошение и меня лично, начальник, перечитав прошение и видя невзрачную фигуру, хотел было выпроводить меня, но заметив, что у меня дрожат колени и на глазах блещат слезы, смилостивился. Черкнув на моем прошении пару слов, с какой-то брюзгливостью сказал, чтобы я шел на первый тракт, то есть на первоначальную сортировку.

После училища дорога почти у всех была – почтовое ведомство, однако мне не было восемнадцати лет, а только пятнадцать с половиной, и надеяться на «государственную службу чиновником» я не мог. Поэтому я был зачислен на работу не то кандидатом, не то, как сейчас говорят, «по вольному найму». Мечта моей матери видеть своего сына почтовым чиновником рассыпалась прахом, но главное для нее сбылось – наконец то ее сын стал добытчиком. Итак, вроде бы началась новая глава моей жизни. Пожалуй, и так, и так. Я стал добытчиком, но остался под тем же игом матери. Никто с меня не снимал обязанности заниматься портновской работой, если были заказы на халаты, помогать Николаю в фотографировании солдат, подменять его, при случае, в будке кинемеханика. Но, по крайней мере, я имел законное право не находиться на глазах матери, и она следила за своевременным уходом моим на работу, не протестовала, если я работал сверхурочно.

Петроградский главный почтамт находился, как и сейчас, на Почтамтской улице, по правой стороне, если идти от Сенатской площади, с перекинутой через улицу аркой. На арке – часы. Главный вход приводит посетителя в большой операционный зал с галереями (балконами) по второму этажу. Часть верхней галереи почтамта занимала экспедиция по сортировке почтовой корреспонденции. Именно сюда со всех почтовых отделений столицы доставлялись простые письма и бандероли, и именно здесь они должны были оказаться в тех мешках, которые повезут в нужном направлении. Раньше дороги, упомянутые в казенном документе, называли трактами. Это старорусское шоссе. По трактам с определенной скоростью и режимом шла почта. Корреспонденция из столицы Российской империи в свои 54 губернии и за границу шла по двадцати трактам. Галерея была разделена вдоль перегородкой со встроенными в нее шкафами. За перегородкой находилось двадцать отделений, носящих наименование трактов. Там, скрыто от нас, производилась дальнейшая сортировка писем. Шкафы со стороны отделений имели дверцы. Дверцы закрывали двадцать две секции в шкафу. Над секцией наклеена этикетка с указанием, в какую или в какие губернии из этой ячейки (секции) пойдет почта, то есть, по какому тракту. Десять ячеек были отведены для губерний, двадцатая – для почты за рубеж, две ячейки – для возврата почты на сортировку. С нашей стороны стояли столы для корзин с подносимой почтой. Сортировщик, а мне предстояло заняться сортировкой, стоя у стола, и имея перед собой корзину с почтой, брал письмо или бандероль, читал адрес и отправлял, просто бросал в нужную ячейку, на тракт. Время от времени, работник того или иного тракта открывал свою дверцу у шкафа и забирал почту на дальнейшую сортировку. Вот так сортировщиком я и стал.

Через два-три дня я уже безошибочно знал, в какой ячейке должна находиться почта для тех или иных губерний. Две недели ушло на отработку положения тела и головы относительно разбираемой корзины. Каждый человек, сообразуясь со своим ростом и развитием, выбирал себе наиболее удобную позу для работы. Очень скоро я начал работать, как автомат, рассортировывая

по 100-120 писем в минуту. Месяца через три или четыре я стал одним из лучших сортировщиков. Тешило ли это мое тщеславие? Не знаю. Хотя и возможно, что тешило. Было нелегко простоять всю смену на ногах, не имея отдыха. Уставал, но молодость быстро справлялась с физической усталостью. Работая почти автоматически, я испытывал определенное наслаждение от чувства, что я уже добытчик. Я имел время наблюдать за новыми окружающими меня людьми, совсем не связанными с нашей семьей и матерью. Это было очень интересно. Я наблюдал иную жизнь, и впервые испытал чувство любви, чувство, о котором я много читал, но которое меня до сих пор не одолевало.

К работе на сортировке писем все относились как к непосланному высшим наказанию. Каждый старался, как можно быстрее от нее избавиться. Иногда можно было выключить у дежурного по сортировке работу на урок, то есть взять одну - две корзины и, рассортировав их как можно скорее, уйти с работы пораньше.

В наши руки попадала только простая корреспонденция, которая не имела цены, но и тут тоже процветало воровство. Среди сортировщиков было два-три человека, которые каким-то особым чутьем определяли в каком письме вложена бумажная рублевка, иногда и трешка. В те годы неискушенные люди, не знавшие почтовых нравов, чтобы не тащиться на почту отправлять перевод на один или три рубля, вкладывали их в конверт вместе с письмом. Обычно это были письма на фронт или с фронта. Были «специальцы» и по бандеролям, которые знали, что можно взять и с выгодой реализовать. К таким вещам относились художественные альбомы, рассылаемые издательствами, или шоколад, конфеты и какао в бандеролях на имена военнопленных, присланные из Германии или Австрии по почте Красного Креста. О воровстве знали все, но закрывали на это глаза и лишь старались не попасться на глаза старшему по сортировке чиновнику.

Как ни странно, но местом, портившим меня, или, можно сказать, развращавшем меня, была обычная столовая. Это была столовая ресторанного типа. Попав туда впервые, я буквально обалдел от того количества блюд, которые, оказывается, готовятся на потребу человека. Мне все это казалось излишествами чревоугодия. Дома я не был избалован едой. Мать, экономя каждую копейку, в обед кормила нас супами и кашей. Первое блюдо варилось в пределах трех наименований: щи, суп с картошкой, суп гороховый. В постные дни это меню варьировалось супами с грибами или из соленой рыбы, обычно сазана. Последние вызывали у меня отвращение, и ел я их буквально «из-под палки». На второе была каша с салом или картошка все на том же говяжьем сале. Иногда вместо каши на второе мать давала тюрю (накрошенный в миску хлеб) на молоке. Лет до пятнадцати в семье все ели из одной миски и только в годы войны мать, узнав, что у соседей Малышевых едят из отдельных тарелок, ввела это новшество и у нас. Тарелки появились, но скудность еды и неизменность установившегося меню – остались.

Когда же мне представлялась возможность обедать, а иногда и ужинать в столовой, я, в пределах имеющихся у меня возможностей, стал предаваться «чревуоугодию». На это безусловно потребовались деньги, которые я стал утаивать от матери. В это же время я пристрастился к пиву, оно тогда мне казалось «райским напитком».

На первичной сортировке корреспонденции в начале женщин и девушек вообще не было, исключая уборщиц – старых и неопрятных. Девушки работали только на двадцатом тракте, то есть там, где принималась и сортировалась зарубежная корреспонденция. Там требовалось умение читать написанное латинским шрифтом, и туда, по-видимому, принимали на работу окончивших гимназию. Вот среди этих девушек вдруг нашелся объект моей мечты. Именно мечты, так как даже подумать, что девушка обратит на меня свое внимание, я не мог. Светлая блондинка и, по-видимому, натуральная, так как в те годы тогда казалось, прекрасно одетая. Вот она то и стала объектом моих мечтаний, моих снов и мыслей. Часто я ожидал ее появления на улице, с тем, чтобы где-нибудь в отдалении от нее следом идти за ней. Жила она тоже на Петроградской стороне. Глядя на нее, у меня не возникало ни одного греховно-плотского помысла.

Прошли святки, в этом году рождественских каникул не было, ведь я стал добытчиком. Я приходил на дежурные смены по сортировке все так же на галерею почтамта. Все так же передо мной корзины с почтой и соты ящиков трактовых направлений. Временами ящики открывали с обратной стороны, почта исчезала, чтобы я смог снова пополнить опустевшую ячейку. Ячейки очищали какие-то невидимки и вокруг меня тоже были какие-то тени. Кто-то что-то делал, но конкретно того, которого можно было бы обрисовать или вспомнить, таких не было. На работе, как и в училище, я был нелюдим. Сейчас, много лет спустя, я не могу припомнить ни одного лица или фамилии моих сослуживцев. Где-то в тумане маячит белобрысый чиновник в тужурке со светлыми пуговицами и с фамилией вроде Орлов или Орел. Этот Орел остался в памяти потому, что во время ночных дежурств рассказывал похабные слухи, да и о своих связях с девицами «определенного сорта». Одна из них уже месяца два работала рядом на сортировке. Орел время от времени удалялся с ней в укромный уголок, и спустя некоторое время, победно ухмыляясь, появлялся на галерее, а потом смачно делился впечатлениями.

Подхлестнутый Орлом, а может быть, и переходным возрастом, я подобрал второй объект, но это уже был объект плотских вожделений. «Она» была единственной женщиной, работавшей на первичной сортировке. Было непонятно, почему и как она попала сюда. Понятно для меня было одно – это была, мягко говоря, первая встреченная мною женщина легкого поведения, которую я почти ежедневно видел около себя. Какая она, я узнавал от уже искушенных в делах сих моих коллег по работе, да и потому, как она вела себя на ней. Она могла удалиться с любым из более опытных и самостоятельных чиновников

почтового ведомства, чем я. Я чертовски хотел побыть наедине с ней, но рассчитывать на благосклонность даже этой женщины я не мог. Особенно обидно было, что я не обладал деньгами.

В моих снах и мечтаниях эти две женщины, одна - незнакомка, грациозно скользящая впереди меня почти до моего дома, объект надсоновской мечты и моего любования, другая, до удивления домашняя, близкая, занимающаяся тем же делом, для всех, кроме меня, доступная, являлась мне в душевных и горячечных снах. Я испытывал влюбленность сразу в обеих. Но странно, что обожествление одной и плотское стремление к другой никогда не менялись местами. Красота и изящество были незримой защитой женщины. В то время я высоко ценил кумира многих – Надсона, даже сейчас помню наизусть несколько стихотворений его и одну из поэм.

Молнией удачи летом 1916 года мелькнул Брусиловский прорыв. Гролом провала дальнейших боев была оглушена Россия. Кровавая бойня войны, глумливая слава Распутина, внутренние неурядицы и надвигавшийся голод в рабочих кварталах Петрограда вызывали нервные пересуды, а со стороны заходивших к Николаю земляков и знакомых солдат звучали уже почти нескрываемые угрозы кому-то, вслух не называемому, но только не немцам. Немцы и австрийцы как бы отходили на второй план, они вроде бы мешали понять, в чем же причина всех нахлынувших неурядиц.

Несмотря ни на что, семья смогла выделить средства на первый в моей жизни мужской костюм, сшитый на заработанные мною деньги по мерке точно на мой рост из более или менее добротной материи.

Очередями с версту, голодными демонстрациями и стрельбой, неразберихой и лозунгами, в которых трудно было разобраться мне, свершилась февральская революция. Царь отрекся, началась дележка власти. Но все это было смазано и мало осталось в памяти в результате постигшей нашу семью горя – Николай лишился места кинемеханика. А дело было так.

Хозяин синемаатографа «Венеция» - Лактаев, как видно, неплохо зарабатывал на прокате кинолент. Несмотря на революционные события, а может быть, и благодаря им, количество сеансов было увеличено, и мы с Николаем успешно справлялись со своими обязанностями. Но как-то в начале марта мать раздобыла где-то срочный и по своей срочности выгодный заказ. Запустив ленту и убедившись, что фильм идет нормально, Николай оставил меня в будке, а сам отправился домой строчить на машинке. Все было бы нормально, я не раз уже прокручивал фильмы самостоятельно. Но на этот раз дуговая лампа аппарата отказалась гореть так, как надо. То ли угли, которые покупал Николай, были слишком дешевыми, и он сэкономил на них, то ли подсунули ему плохие угли, но они у меня не горели там, где надо. Сколько я ни крутился, угли горели в держателе, а не на стыке. Хозяин, находившийся в зале, заметил, что яблочко света сбилось, и свет стал не белый, а желтый и совсем наконец исчез, влетел в будку и, увидев меня с обожженными руками взревел: «Где он... уво-

лю!») - это относилось к отсутствующему Николаю, и вылетел прочь. Зная, что он сейчас побежит домой к Николаю, я тоже с воем понесся следом, желая обогнать его. Влетели к нам домой почти одновременно. Что было дальше - я не помню, но фильм мы в этот день прокрутили, и свистевшие, возмущенные зрители были хозяином успокоены и денег обратно не получили. На следующий день хозяин привел нового киномеханика. Новенький появился в будке, посмотрел аппаратуру, проверил состояние фильма, перемотав ее на бобинах, и потребовал, чтобы Николай начал прокат фильма. Действовал он похозяйски, с виду, со знанием дела, каков он был на самом деле, не знаю, но для меня он был самым противным человеком в мире - он отнимал у нас работу. Как видно где-то в душе у меня таилась мысль или надежда, а вдруг хозяин механика не найдет, а вдруг пожалеет..., но бобина крутилась, лента сматывалась и наша работа соскочила с валика и прощально махнула кончиком ленты. Все. Николай снял бобины и щиток и уступил место новенькому, довольно крякувшему, что аппарат работал безукоризненно. Хозяин указал нам на дверь. Все. Новенький заправил ленту, осмотрел угли и начал фильм. Мы вышли в зал. Минуты через три произошел первый обрыв ленты, затем - второй. Не дожидаясь четвертого обрыва, мы с Николаем ушли домой. Сколько обрывов допустил новенький, не знаю, но на следующий день сам хозяин лично пришел к нам и упрасивал Николая вернуться, ссылаясь на то, что прямо разор один, а не механик достался ему. От места в «Венеции» Николай отказался, а щиток, отводивший в течение двух лет пленку, устраняя ее обрывы, он куда-то спрятал. В семье ничего не выбрасывалось.

Вот так, если первая русская революция лишила меня гармошки, то вторая нанесла удар уже по всей семье.

Жизнь продолжалась несмотря ни на что. Хотя мои финансовые возможности были и невелики, а теперь еще и значительно уменьшились, но возраст и натура мужская видно брали свое. Не имея никаких надежд, я все же продолжал неукложе, но ухаживать за моей второй знакомой, так почти ничего и не добившись. Правда, как-то она посмотрела на меня пару раз углами глаз, и, как мне показалось, обещающе улыбнулась, так что я отработал за нее пару смен, но опять-таки остался с носом.

Моя надоевшая работа и наслаждение «райским напитком» вдруг закончились. Именно вдруг! В двадцать первой секции моего шкафа оказалась вскрыта бандероль. В двадцать первую секцию, доступ в которую был только через дверцу с противоположной стороны, имели чиновники, обнаружившие неправильно направленную бандероль. Вскрытая бандероль попала на глаза дежурившему в тот раз Орлову. Вот этот самый Орел с таракаными усами обвинил меня в похищении банки с яблоками из вскрытой бандероли. Мои слезы и мольбы, заверения, что «я и видом не выдывал этой банки» ни к чему не привели, и на другое утро мне предложено было покинуть работу. (Этой банки я не трогал. Возможно чувство зависти к быстроте моей работы было при-

чиной увольнения, но ни разу мне не приходила в голову возможность жалобы со стороны моей «симпатии» Орлову на то, что я ей проходу не даю).

В начале июня я оказался безработным. Боясь предстать перед семьей не только безработным, но и опозоренным кличкой вора, я слонялся по улицам Петрограда, с ужасом ожидая двадцатого числа, числа, когда нам выдавали жалование, которого я уже не смогу принести домой и, что... об этом я не хотел, да пожалуй, и не смел думать.

Это был июнь 1917 года с его классовыми бурями, с его демонстрациями, митингами и всеобщим брожением умов. Это было время, когда, уставшая от проклятой бойни, армия солдат, понявшая, для чего и для кого ведется война, начала втыкать штыки в землю, и уже тысячи солдат грозной тучей неслись по домам.

Я в те дни, будучи свободным и не разбираясь в политике, а просто любым путем пытавшийся скоротать время, был рад любой демонстрации, любому митингу. Кто их устраивал – большевики, меньшевики, эсеры или кадеты – меня мало интересовало, так как, находясь в толпе, я не чувствовал себя одиноким. Со временем я уяснил, что большинство таких мероприятий были большевистскими. Участвовал я, а вернее видел колонны демонстрантов, мое физическое тело тоже находилось в этих колоннах, но мысль была только одна – что делать? И несмотря на то, что кругом кричали и требовали борьбы, я решил бежать, но куда бежать?

Будучи душевно одинок, я держался инстинктом вместе с толпой, я вместе со всеми чего-то требовал, а требовал того, чего толпа требовала. Так я участвовал и в третьей июльской демонстрации (по новому стилю). Толпа демонстрантов, и я где-то в ней, была на Марсовом поле, но после того, как раздались выстрелы в стороне Невского, а стреляли совсем недалеко – на Садовой, часть толпы бросилась бежать, ну и я с ней на Конюшенную площадь. На другой день мне попался «Петроградский листок», на первой странице которого большими буквами было напечатано: «Ужас! Петроград был захвачен немцами!». Буквы были большие, кричащие. Больше ничего на странице «листка» напечатано не было. Я, проплывавший целый день по городу, недоумевал: какие немцы? Откуда они взялись? – ведь я на улицах не видел ни одного немца и не слышал ни одного немецкого слова.

Суть дела, как ни странно, я узнал дома. Зачастившие к Николаю солдаты-земляки разъяснили, что мол так называют большевиков, вождь которых Ленин проехал через Германию в «запломбированном» вагоне. Людей, уважавших действия властей, понятие «запломбированный» приводило в какое-то непонятное состояние полу мистического гипноза. Слово понятно, в содержании его что-то есть, а что именно, не ясно. Вот на эту-то неясность все и кивали, как на слово «глумиться», что, как, зачем – не понятно. Глумиться – и все сказано. Разговоров о кайзеровских «миллионах», вывезенных в этом же вагоне, еще не было. Надо сказать, что солдаты были почти все настроены по

большевистски. Все были за мир. Все рвались домой. Все ни на грош не верили в то, что писали в официальных правительственных газетах. Нужно сказать, что именно эти рассказы и разговоры солдат, особенно, если они велись за чашкой чая, то есть одомашненные разговоры, явились первыми истоками, показавшими мне путь в члены РКП(б), куда я вступил в 1919 году.

В Петрограде жить становилось с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Работы киномехаником Николай найти не мог. Большинство синаематографов закрылось, и продолжали закрываться оставшиеся. Стало по-настоящему голодно, продовольствие сильно вздорожало, а потом его и совсем не стало. В этих условиях мать решила перебраться в деревню, на родину. Чтобы облегчить переезд семьи пришли к выводу, что часть вещей лучше отправить заранее багажом. Находясь не при деле, о чем мать и не догадывалась, я напросился, чтобы с этими вещами послали меня, а я мол отпрошусь на службе дня на два-три. Мать решила, что это вполне резонно, и выписала мне в районном комиссариате милиции документы на право выезда из Петрограда и возвращение в него.

Итак, захватив документы и сшитый мне матерью новый костюм, сказав, что иду на дежурство по службе, я ушел в неизвестность. Привыкнув к тому, что мною всегда кто-нибудь управлял, я решил искать другого надежного наставника вместо матери. И решил, что этим наставником может быть и отец. О нем я слышал, что он проживает где-то в Вятке. В Вятку я и отправился.

В бегах. Лето 1917 года

Пришел на Николаевский (Октябрьский и ныне Московский) вокзал, перроны которого кишели солдатами и другим людом, покидавшим Петроград. С боем, а может быть, и просто течением толпы, был втиснут в теплушку и поехал в направлении Вологды. Торопиться мне больше было почти некуда. Надежд отыскать отца было мало, но расстояние, отделяющее меня от матери, увеличивалось, и я был рад. В Званке, почти что первой остановке от Петрограда, моя радость еще больше усилилась. Я заметил, что в станционных буфетах на столах имеется хлеб. В Петрограде с ним было очень туго. На радостях я решил оставить поезд, зайти в буфетный зал, сесть за стол и есть хлеб, сколько влезет. Первый раз мне это удалось довольно легко. Взяв с тарелки кусков шесть хлеба, а из солонки в горсть соли, я уселся в зале ожидания третьего класса у бачка с кипятком, и, прихлебывая из жестяной кружки, прикованной цепью к бачку, утолил возникший было голод. С легкой душой довольного человека улегся в этом же зале на лавку и благополучно проспал свою первую бездомную ночь.

Наутро, поощряемый приятными воспоминаниями, я снова направился в буфет, но был встречен официантом, который после учтвого вопроса, что я

буду заказывать в буфете или на кухне и получив отрицательный ответ, довольно неучтиво выдворил меня из зала. Голод - не тетка, особенно, когда за окнами просто так на столах в тарелках лежит хлеб, заставил меня принять меры маскировки. И часа через два, когда подошел какой-то поезд, и в буфет бросились пассажиры, я вместе с ними добрался до хлеба на столах и стащил сколько смог. Голод снова был приглушен и я продолжал обживать приглянувшуюся Званку. К вечеру моя радость первооткрывателя начала тускнеть, так как я заметил, что кое-кто из станционных служащих смотрит на меня с подозрением, и я решил продолжать свое путешествие. Не будучи обремененным багажом, я забрался в вагон и добрался до Тихвина. В Тихвине, пользуясь толчеей в станционном буфете, я снова стащил хлеба, но имея уже некоторый опыт, смог продержаться не одни, а двое суток. Затем я перебрался на следующую большую станцию Бабаево и так, как бы на перекладных, минуя станции Вологда, Буй, Свеча, Никола-Полома и Котельнич, я очутился недели через две на платформе станции Вятка.

От дорожных тревог и дорожных харчей, которые после почтамтской столовой, да и скромных, но домашних обедов матери, настолько сильно подвели мой живот, что я бегом бросился искать адресный стол в Вятке. Стол нашел, но справку не получил, не оказалось за душой пятака или гривенника, чтобы расплатиться. Часа через полтора снова я появился у окошка адресного стола, объяснил, что ищу отца, которого не видел десять лет, и что у меня нечем заплатить за справку. Адрес Коновалова Ивана Артемьевича был найден и написан на бумажке, а бумажку мне подали в окно. Кажется, не было милее и симпатичнее старушки ни в одном адресном столе России! Казалось бы, что все тревоги и мытарства позади, когда я спросил в окошке нужного дома у пьющего чай мужика, здесь ли живет Иван Артемьевич? «Здесь... жил, - ответил мужик отдуваясь, - но его мобилизовали. Говорят, он служит где-то в Ревеле, в пулеметной роте. Вот уже год, как его забрали». Если бы у окна была женщина, она обратила бы внимание как я разом обмяк, но мужик продолжал, как ни в чем не бывало пить чай...

Дни моих скитаний основательно вымотали меня и физически и нравственно. Пожалуй, главное физически, ведь за полторы недели я ни разу не разделся и только раз снял свои башмаки, давая роздых ногам. Носки на ногах сопрели, тело зудело, желудок требовал еды, как злодей, не помнящий добра. Положение сложилось блеее, чем критическое. К великому моему счастью у меня в руках находился узелок, завернутый в дерюжку мой первый и единственный костюм, сшитый по мерке на меня матерью. В городах той поры, даже таких, как Вятка, были своеобразные палочки-выручалочки бедноты – ломбарды. Просто так предлагать свой костюм прохожим я боялся, чтобы не признали меня вором, а барахолки в Вятке, как ни странно, не было.

Итак – ломбард. Развернув дерюжку, я, насколько мог, а ведь я был из семьи портных, привел в порядок свой костюм, бывший для меня и подушкой и багажом. Счастье улыбнулось мне, спросив у меня документы, в ломбарде

приняли мой костюм под залог, если не изменят мне память, за три рубля с полтиной. Кроме того, мне была выдана именная квитанция, в то время как в Петербурге, квитанция выписывалась на предъявителя. Радость моя была безмерной.

Первое, что я сделал, это пошел в трактир и заказал порцию битков с жареной картошкой. Как они были вкусны и ароматны! Их вид и вкус даже сейчас иногда представляется мне. Просидел я в трактире часа три, заставил половых немало понервничать: заплачу я за битки или улизну. Ушел под вечер на вокзал на привычную для меня ночевку. На следующий день двинулся в обратный путь.

Сижу наверху и наблюдаю, как заполняется «рычащей» толпой внутренность вагона. Нары верхние и нижние почти мгновенно были заполнены, а в дверной проем все лезли и лезли. Наконец все заполнено. Начинается ужатие и утеснение лежащих на нарах и под нарами. Мне тоже предложили «укоротиться». Я «укоротился», пустив к себе в ноги сидеть раскрасневшуюся от посадочной суматохи бабу лет пятидесяти, необъятной толщины и, по видимому, такого же веса. Пассажиров набилось столько, что дышать стало трудно. Моя толстуха совсем сникла, вот-вот развалится, и тут я, конечно, не из уважения к ее старости, а прямо скажем из корыстных соображений, предложил ей свое место у «окна». Своим великодушием я покорила сердца и ее и ее супруга, я понимал, что этим мне будет гарантировано питание на протяжении всего пути в Петроград из их огромных запасов всякой снеди.

Мне было не по себе, выехать из Петрограда, стремясь умяться от него подальше, и после целой одиссеи, вдруг ехать снова в Петроград. Мелькнула мысль покинуть теплушку, которая после шести часов стояния и маневров по путям оказалась в составе, идущем - таки в Петроград, но тут сработал, как видно, инстинкт самосохранения – я не смог отказаться от вдруг открывшейся передо мной решенной, хотя бы и временно, продовольственной проблемы, и я остался в теплушке. Вот вновь проезжаю я, но только в обратном порядке, станции Котельнич, Свеча, Николо-Полома... Да, Никола-Полома станция, на которой вышли две молодки, служившие утехой в течение ночи пятнадцати, а то и двадцати солдатам. Но события начали развиваться с Галича...

В Галиче я нырнул в чуть приоткрытую дверь теплушки и оказался среди компании едущих с фронта солдат. Они, оказывается, еще в Вологде захватили теплушку и расположились в ней с полным комфортом, гоня всех, кто совался, «к чертовой матери», заявляя, что им самим отдохнуть некогда. Мне-то было легко, багажом я обременен не был, и мне хватило тех двадцати сантиметров, на которые была отодвинута дверь. «А как ты попал сюда, шкет?». «Да я, дяденька, ненадолго, всего лишь до Вологды... Мне и места-то не надо, под нарами вполне хватит». Хотя я и испугался, но выходить из полусвободной теплушки не хотелось, проникнуть в другой вагон мне было бы трудно. Как бы то ни было, но из теплушки меня не выкинули. Я забился в уголок и затих, а потом и заснул. Как я понял, они где-то в Вологде раздобыли не то

денатурат, не то одеколон, и все были в большом подпитии. Их языки все время находились в работе, изрыгая матерщину, и более «культурную» ругань, изъевляли непреодолимое желание кому-то набить морду...

На остановках, а поезд останавливался у «каждого столба», они продолжали не пускать никого, а потом кто-то из них спросил: «А не пустить ли потехи ради пару бабенок?». Предложение понравилось, и тут же сразу посыпались предложения садиться только особам женского пола. Долго эти предложения не приводили к желаемым результатам. Уж слишком явно были пьяны приглашающие. Но все же, кажется в Галиче, две довольно крепкие и здоровые бабенки, едущие не то от мужей в Галиче, не то к мужьям в Николе-Полому, приняли приглашение и стали обитателями теплушки. Сначала они весело отшучивались и улыбались, за словом в карман не лезли. Один из наиболее нетерпеливых попытался прощупать телеса одной из подружек, но был так отодвинут, что еле удержался на ногах. Но это только еще больше возбудило компанию. Приятельницы были оттерты друг от дружки и каждая оказалась в осаде пяти-шести мужиков. Шутки и усмешки бабенок превратились в ругань, затем в слезы, в крики и вопли: «Да что же вы, охальники, делаете! Да пустите!» В ответ же слышалось «Тебя не увидет, достанется и мужу. Не кричи, не вертись, а то вылетишь на ходу из вагона».

Я лежал под нарами на полу теплушки и не был свидетелем того, что происходило на нарах. Я только слышал ругань и крики, продолжавшиеся часа два. Потом на нарах наступила тишина. Женщины, по-видимому, смирились со своей участью, и последующее принимали без особого шума. Солдаты постепенно трезвели, получив свое, звериный инстинкт отступал, и отношения к бабенкам менялось. Молодки слезли с нар и сидели на узлах, ожидая остановки у Никола-Поломы. Поправив то, что у них оказалось порванным и, прихватив свои пожитки, они вышли на перрон и почти нормальной походкой пошли к вокзалу.

...после Галич, Буй и, наконец, Вологда. В этом городе, а вернее на вокзале, я провел двое суток. Как видно, продовольственное положение в Вологде было неплохим, раз я задержался на двое суток. Спать можно было на вокзале, под диваном. Станционный диван очень интересное и исключительно прочное сооружение, внедренное без изменений по всей Российской империи. Станционные диваны пережили все войны и революции и начали заменяться на другие, более легкие, только в шестидесятые годы. Так вот, если диван стоит у стены, а он довольно широкий, то, забравшись под него и прижавшись к стене, можно весьма удобно и относительно безопасно устроиться на ночлег. Пассажиры, сидящие на диване, ногами не доставали до спящего, другое дело, если под диван с силой запихнут увесистый сундук или корзину.

В одну вологодскую ночевку, когда я устроился под двумя сдвинутыми спинками диванами, и еще не успел заснуть, я заинтересовался ходом игры в очко, затеянной пассажирами третьего класса. Рядом стоял большой и довольно широкий стол, обеспечивавший мне довольно хороший обзор. Играло че-

ловек шесть. Играли по крупной, то есть банк достигал рублей до сорокапятидесяти. Для меня такие суммы были астрономическими. Вначале игра шла вроде бы равная, но потом начал выделяться один наиболее удачливый игрок. Уже пожилой, с бородкой лопаточкой, во френче, он как бы был гвоздем игравшей компании. Отважившиеся играть с ним, продули все, что имели, и отошли в сторону, продолжая следить за ходом игры. По мере того, как число проигравших росло, и их деньги переходили в карманы, а потом и за пазуху удачливого бородача, возбуждение у стола все время нарастало и наконец, после того, как кто-то крикнул «передвинул», обыгранные бросились к бородачу и вцепились в него. Один из его друзей, а возможно из помощников, пытавшийся защитить своего друга, получив в зубы так, что чуть не захлебнулся ими, ретировался, и шулер остался один на один с десятком обыгранных им неудачников. Блеснул нож, появившийся у него в руках, но, получив в зубы и под дых, он выронил его. Лезть за проигранными деньгами за пазуху и в карманы было некогда, каждый старался хотя бы частично возместить проигранное, а возможно и поживиться. Френч почти мгновенно оказался располосован ножами вместе с рубахой. Случайно или намерено был вспорот и живот. Я видел, как он, падая, пытался удержать выпадавшие катышки кишек окровавленными руками.

Страх, какого я еще не испытывал в жизни, охватил меня. К горлу подступила тошнота. Как я выскочил из-под дивана, спасаясь от страшного соседства, и как в моих руках все же остался мой узелок, не помню. Продрожав часов пять и дождавшись рассвета, не заходя в вокзал, я первым поездом постарался выехать из Вологды на следующую станцию.

Путешествие мое из Вятки в обратном направлении благополучно, в один из не совсем прекрасных дней, закончилось. Я снова оказался на перроне Николаевского вокзала. Идти было некуда. Впереди только две возможности: продолжать свою «вокзальную» жизнь, или ехать в каком-либо ином направлении. Решился на первый вариант – остаться хоть на время в родном городе. Местом жительства был избран Николаевский вокзал с переменными местами ночевок под диванами зала для пассажиров третьего класса. Вход в него обращен на Лиговку, и в нем, как теперь (пятьдесят лет спустя), так и в прошлом, все так же много народа, такая же грязь и толчея. Не знаю, существуют ли на нем теперь крысы. Наверное, существуют, потому что такую их громаду вывести, пожалуй, невозможно. Крысы не давали спокойно спать под диванами, они считали, что это их территория, и пытались взимать «пошлину» с появлявшихся в их владениях людей, вроде меня. Обокрасть им меня не удавалось, красть было нечего, да, не знаю по какой причине, я при их приближении всегда просыпался.

Остатки денег от заложенного в Вятке костюма быстро исчезли. Исчезали они на покупку хлеба и в обед – чая. Чаевничал обычно в чайной на Лиговке, напротив вокзала. Пока я «путешествовал», пара чая поднялась в цене с семи до пятнадцати копеек. За этот пятиалтынный давали маленький чайник со ще-

поткой чая для заварки и большой чайник с кипятком. На столе, конечно, появлялась и чашка с блюдцем...

Когда иссякли деньги, я стал побираться. Правда, я старался это делать в такой форме, чтобы это нельзя было назвать нищенством. Я не был оборван, на мне, хоть и плохонькое, не особенно чистое, но пальтишко. На ногах ботинки. Поэтому, на мой взгляд, меня за ничего принять было нельзя. Я выработал особую тактику *побирушничества*. Я не стоял около булочной с протянутой рукой. Нет. Я шел навстречу выходящим из булочной и обращался только к тем, у кого замечал довесок на купленном хлебе или сытном. Обращение также было составлено и отрепетировано мною и звучало примерно так: «Тетенька (в зависимости от того, кто был передо мной, обращение могло звучать, как дяденька, бабушка, дедушка и так далее), если вам не жалко, то не отдадите ли мне тот довесок, который мешает вам нести хлеб, и который вы, наверное, скоро потеряете». Был конец лета 1917 года, за хлебом стояли очереди, но я не помню, чтобы моя просьба, обращенная в такой форме, встречала отказ. Недоуменно глядели на меня, но не отказывали. Для того, чтобы не бросаться в глаза, я, выпросив два-три довеска у одной булочной, уходил к другой, чтобы в последующем к этой булочной не подходить. Булочных в Петрограде было достаточно, а расстояния между ними меня не смущали, делать мне совершенно было нечего.

Мне казалось, что я хожу по всему городу, но видимо, все мои скитания имели вид змейки, которая вела к Петроградской стороне, и там превращалась в спираль, приближавшуюся к дому. Я не знал этого, но матери уже стало известно, что я шатаюсь по городу...

Однажды, все на свете имеет свой конец, меня вытащили из-под вокзального дивана за ногу. Встряхнув меня хорошенько, патрульный солдат потребовал у меня документы. Документы, да еще квитанция из вятского ломбарда, хоть избавили меня от ареста, но не явились веским основанием для права занимать место на вокзале. Мне довольно внушительно предложили выбраться из вокзала и, чтобы ускорить эту операцию, выпроваживающий меня солдат дал мне такую затрещину, что около десятка ступеней лестницы я проехал на заднице. Обида и злость как никогда овладели мной, кроме матери меня еще никто не бил, но выхода не было. Вот он, мой обидчик, стоит у входа с винтовкой и с высоты десяти ступенек ехидно улыбается – «Хочешь, мол, и еще подам, за мной дело не станет. Будешь дома спать, а не на вокзале валяться».

Скрепя сердце, а это было в четвертом часу ночи, я пошел бродить по ночному Петрограду. На Невском – ни души, только кое-где белеют в подворотнях фартуки стоящих или сидящих дворников. Вот Пушкинская улица, она сейчас тоже пуста, а ведь в вечернее время возле бань тут были скопища проституток, ловивших желающих помыться в отдельном кабинете. Я не раз проходил здесь в коком-то тайном возбужденном состоянии и наблюдал, как проститутки, не стесняясь в выражениях и жестах, предлагали себя. У некоторых

домов мусор был сметен в кучи, а кое-где тротуар еще не подметали, и там я особенно внимательно вглядывался в тщетной надежде найти оброненный кошелек или иную ценную вещь. Но, на мою беду, в городе никто ничего не терял. От этого на душе делалось скучно

...И вот на Малом проспекте иду и смотрю себе под ноги. Вдруг чувствую, что кто-то схватил меня за руку и голосом матери кричит: «Вот ты где, подзаборник, шляешься! А ну, домой!» Ничто меня поразить так не могло, как появление матери и ее крик. Я не пытался освободить руку и бежать. Покорно шел домой к своим притихшим сестренкам и отчиму. Досталось всем. Я не могу описать те сцены, которые разыгрывались у нас в течение нескольких, казавшихся бесконечными, дней. Слезы и истерики матери сменялись пинками и пощечинами. «Дармоед, мерзавец, нахлебник и вор» - вот те эпитеты, которыми награждала меня постоянно мать. Я молчал, плакал и считал себя последним человеком, виновником тех бед и несчастий, которые свалились на головы моих близких, да и на мою в том числе. Мать особенно допытывалась, не связался ли я с какой-либо шайкой за эти дни и недели моих скитаний. И только предъявленная мною квитанция Вятского ломбарда, доказывающая, что я съездил в Вятку, несколько ее успокоила.

Что было дальше? Поиски работы с моей стороны ни к чему не приводили, дома сидеть было невмоготу. Мать и вся семья видели мое «неприкаянное» состояние и всякую минуту ждали, что я выкину вновь какой-либо «фортель». Из создавшегося положения мать нашла только один выход. Она предложила мне убраться к отцу. «Ты ездил к нему в Вятку, а он в Петрограде уже ошивается. Отправляйся к нему. Николай тебя ответит».

Напутствуя меня и Николая, считая, что во всех несчастьях повинен отец, она строго-настроено приказала мне, явившись к нему, (она не называла его ни по имени, ни отцом, а только «им») стать перед ним на колени и поклониться до земли. Она считала, что это послужит укором ему, и что в беспутстве своего сына, то есть меня, он, то есть отец, является единственным виновником.

Николай, приведя меня к дяде Степану на Верейскую улицу и вызвав отца в коридор, ушел. Я, как и приказала мне мать, отдал отцу земной поклон и, конечно, разрыдался от стыда, обиды и безысходности своего положения.

Отец по мужскому оценил мое поведение и совсем не так, как рассчитывала мать. Он решил, что этим поклоном я ищу прибежища и спасения от всех бед и нуждаюсь в его помощи. Как он понял, так - и сделал. Отец оставил меня у себя, то есть на квартире у дяди Степана, а спустя дня два, закончив шить находившуюся у него работу, мы с ним поехали уже вдвоем все по той же Северной железной дороге через Званку, Тихвин до станции Шексна и в Фоминское.

Вот так в конце сентября, я оказался в деревне.

Провинциальная жизнь: 1917-1919

Впервые в Фоминское я попал в младенческом возрасте и мало что помню, но мать рассказывала, что добираться тогда приходилось окружным путем, через Рыбинск, так как дорога на Вологду еще не была построена. От Рыбинска пароходом по Шексне до пристани Козьмодемьянское и на лошадях до Фоминского. Сейчас же мы следовали от станции Шексна, что у железнодорожного моста через реку, и через деревни Остров, Тяпино, Мачево, Верховье, Шалимово в Фоминское.

Шли налегке пешком с двумя котомками за плечами. Дышалось мне легко, все пережитое осталось где-то далеко. В шестнадцать лет, а это было уже в конце лета 1917 года, память не задерживается на прошлом, оно не волнует, и если сейчас ничего не беспокоит, то и будущее кажется радужным. Иные мысли одолевали отца.

Нельзя сказать, чтобы к крестьянской работе он не был приспособлен, он ею не занимался лет тридцать, то есть с детства. Работы портновской не только в Петрограде, но в деревне и по давню, не было. Отец хоть и не крестьянствовал, но свою деревню, свою родину любил самозабвенно. Уйдя от семьи и проживая вначале в Нижнем Новгороде, а потом в Вятке, он сумел сколотить сотни две-три рублей и построить для себя на том месте, где стоял дом деда Фаддея, дом крестовик. Так как в этом доме еще не была установлена печь, то некоторое время мы жили с дедом Артемием. В Фоминском в то время проживали одной семьей: дед Артемий, бабка Аксинья, мой дядька, младший брат отца девятнадцатилетний парень Дмитрий, моя тетка, несколько старше меня - Парасковья, и моя тетка, младше меня - Анка. Напротив дома деда стоял дом выделившегося, второго по старшинству дядьки Василия. Были и еще сыновья. Степан, преуспевший в Петрограде, и два других - Николай и Федор, находившиеся в немецком плену.

Дед Артемий был абсолютно неграмотным, не знал буквально ни одной буквы, но исправно вел счет пудам молока, которые семья продавала местному богатей Соколову, никогда не сбивался в счете суслонев нажатой ржи, в числе копен накопленного сена. Работал он всегда. Пил только в праздники. Праздников в Фоминском было только четыре: Пасха, Рождество, Николин день (летний) и день Кирика и Улиты. Не отказывался сходить в соседние деревни на Троицу, Петров день, Иванов день и прочие. В возрасте шестидесяти лет он говорил, что в зимнюю стужу, на морозе без рукавиц, сможет, при случае, на дровнях установить завертку (свернутый из лыка ели жгут, связывающий дровни с оглоблём).

Дед в деревне принадлежал к числу справных мужиков. Еще от деда Фаддея в наследство он получил несколько десятин покоса по реке Сарке, как говорилось За Саркой, в Дулино или в Копылово,... Дулино – верстах в шести, а Копылово – верстах в двух от Фоминского. Эти пустоши мой прадед Фаддей

купил у помещиков Дулина и Копылова на заработанные деньги при приработке на проведении или восстановлении Обводного канала в Петербурге. По одной из версий, наша фамилия Коновалов происходит от этой деятельности Фаддея, так как он, как тогда говорили в деревне «канаву валил». Кроме этого, как положено, он обрабатывал и положенный на душу земельный надел от общины. Земли в наших местах – бедные, поэтому на одну душу, а душами считались одни мужики, земли нарезали достаточно, чтобы часть мужиков отправлять в город на заработки. Кроме «общественного» пастуха, никогда работников не нанимали. Как-то однажды дед Артемий решил посмотреть на городскую жизнь. Он был с почетом принят моим отцом, «нужно же было как следует угостить батю». Хлебнув водочки и закусив чайной колбасой, ругнул ее слегка матерно, заявив, что у него в Фоминском копченая баранина куда вкуснее, по привычке деревенской стал искать печку, чтобы забраться на лежанку и соснуть с дороги. Приняв за печку стоявший в углу черный умывальник, полез на него, понося мою мать за то, что она плохо топит печку или даже за то, что ее совсем не топят.

Умер дед Артемий в возрасте 98 лет почти одновременно с моим отцом, в 1938 году.

В девяносто лет от роду дед Артемий был раскулачен. В ходе революции и коллективизации все наделы, не говоря о купленных покосах, обобществились, но дед по старой памяти не позволял выделяться своим сыновьям, памятуя, что большая семья – богатая семья. Мои дядьки, Николай и Федор, вернувшиеся из плена, подросток Дмитрий и, уже отделившийся до революции Василий, решивший, что неплохо было бы еще что-нибудь сорвать с отца, раскулачили его. Что кому досталось – трудно сказать, но вместе с домом Дмитрию достался и дед. У деда, как была, так и осталась праздничная суконная пара (пиджак и брюки) да рубаша ситцевая, а не домотканая (посконная) льняная.

Второй сын моего деда, Василий, был молчаливым и, можно сказать, неуютным мужиком. Он был тугодум, жадноват и не прочь был выпить на чужие деньги, на жизнь не жаловался. В войне 1914 года он повоевал года два и вернулся живым и здоровым к своей жене, тетке Анне.

Судьба и жизнь двух других братьев, Николая и Степана, была весьма примечательна. Николай двумя годами был старше Степана. Поэтому он уже в пять лет был приставлен к Степке в качестве няньки. Таскал его на *закоурках*, кормил кашей, оставляемой матерью в печи, получал шлепки по жалобам Степки за невниманье к нему со стороны Николая. Но вот семью посетила болезнь – оспа. Оба брата лежали в одной постели и болели одновременно. Болезнь по-разному обошлась с братьями. Николай на всю жизнь остался с изрытым оспой лицом и на всю жизнь получил кличку «корявый». Степка тоже пострадал, он окривел, но лицо осталось чистым. Следствием болезни было то, что Николая взяли в солдаты, а Степана – нет. Николай остался кривоногим и низкорослым, возможно сказалось таскание на *закоурках* Степки.

Степан – строен и ростом более высок. Оба они, по стопам моего отца, были отправлены в Питер на обучение портняжному мастерству. Оба стали неплохими мастерами своего дела, но Николай, будучи «корявым», остался неприкаянным до конца жизни, не имел детей, хотя и женился со временем. Жена его тоже носила имя Анна.

Степан же, как только выжился, скопил деньжат, сумел жениться на довольно смазливой девице, ставшей для меня теткой Ольгой. Моя мать, то ли из зависти, то ли из желания обнародовать «истину», несколько позже говорила о том, что Ольга вышла замуж за «кривого» Степку потому, что до того по ночам в Тосно «прогуливалась» по кладбищу с местным псаломщиком. Тем не менее, тетка Ольга осталась в моей памяти как веселая, жизнерадостная и приятная во всех отношениях бабенка. И надо было так случиться, что Николаю в Питере пришлось идти наниматься в подмастерья к своему младшему брату, которого он буквально выносил и вырастил. Покосился Степан на своего старшего брата своим единственным глазом, но все же принял его к себе в работники. Я представляю себе переживания Николая, который, глядя на смазливую жену своего младшего брата – свою хозяйку – и видя в каком достатке они живут, невольно сравнивал все это со своим горьким существованием, одиночеством и неустроенностью. В один из дней, будучи навеселе, Николай не смог сдержаться и излил все накопившееся с бранью на голову брата и его жены. Не зная на чем сорвать свою обиду и злость, не имея ничего под руками, ничего, что могло бы досадить им, решил порезать ножом спрятанное в изготовленных из прутьев, но запертых на замки корзинах, достояние брата-хозяина. Проткнув в нескольких местах корзины, Николай ушел. Степан подал на брата в суд, но с голого ничего не сдерешь. Братья стали жить и работать порознь, пока голодовка в Петрограде не загнала их в деревню.

Следующим по возрасту братом моего отца был Федор. Федор, как и Василий, был оставлен дедом в деревне. В Питер на заработки не посылался и всю жизнь до раскулачивания деда проработал в его хозяйстве. В первый год мировой войны он попал на фронт, а оттуда в плен к немцам. Там он проработал у *бауэнта* почти до конца 1918 года, после чего – вернулся домой. Ни служба, ни плен его несколько не изменили. Он был полуграмотным парнем, таким и остался. Во хмелю, он был буен и капризен, но в то же время и трусоват. В 1919 году в лесной деревушке Ивлево он нашел подстать себе девуку, женился, отделился от отца и, срубив себе избу на конце Цаплиговского края, стал жить, как и все мужики в Фоминском.

За Федором шел Дмитрий, в просторечии Митька. Он, как и его три старшие брата, прошел школу ученичества портняжному мастерству, выжился и, если бы не революция, вышел бы в портновские хозяйчики. Он был, как мне казалось, самым толковым, дельным и работающим из всех моих дядьев. В первые послереволюционные годы был красноармейцем, вернулся в деревню, женился на дочке одного из трех фоминских кулаков, тоже Анне, был раскулачен и уехал жить и работать в Рыбинск. В Отечественную войну он был

призван в армию и погиб на фронте почти одновременно со своим сыном Владимиром. В отличие от своих братьев, в том числе и моего отца, он никогда не поносил Советскую власть, воспринимал все события, как естественное развитие революционного преобразования.

Дочерей у деда, то есть моих теток, было две. Парасковья – годом старше меня и Анна – на два года младше. Обе были чернявые (так в деревне называли брюнеток) в деда Артемия. Анна была довольно красивая, смышленная, бойкая и постоянно веселая.

Во время моего пребывания в деревне Митька был в женихах, Паранька – ходила в невестах, а Анька была девчонкой на побегушках.

В Фоминском в то время сложилось три кулацких хозяйства. Братья Соколовы Кирилл и Игнатий, да Степан Гурьянов.

Самым богатым был Кирилл Соколов, державший в своих руках восемь близлежащих деревень. Он имел свою торговлю и содержал маслоделательные заводы – *сыроварни*, скупая у крестьян молоко. Игнатий – родной брат купчины, не торговал и сыроварен не содержал, так как за пьянство был отделен отцом с меньшим земельным наделом, а главное без выдачи наличных денег. Братья враждовали, и друг к другу не заходили, хотя жили сажанях в пятнадцать (около 25 метров) друг от друга. Если Кирилл имел двухэтажный дом с первым кирпичным этажом, то Игнатий жил в простом пятистенке, но обшитом тесом и окрашенном масляными красками. Внутри дом был обставлен на простой крестьянский манер, а для ведения хозяйства нанимался один, а то и два работника или работницы.

Держал работника и Степан Гурьянов, но, несмотря на это вся его семья работала до седьмого пота, чем и славилась в округе. Вот в этой семье и выбрал мой дядька Дмитрий себе в жены одну из трех девок.

Первые месяцы мы с отцом проживали деньжата, заработанные им в Питере, а потом стало туго. Хлеб начали заменять картошкой да овсяными блинами.

Мир, в смысле общественности, в деревне был примитивен. Книг, кроме псалтыря, ни у кого не водилось, если исключить Кириллу Соколова. Люди жили слухами, происхождение которых часто было непонятным. Свежую струю внесли в этот мир темноты, суеверий и полной неграмотности приходившие с фронта солдаты. Таким солдатом был и мой отец. Сейчас полезно будет сказать, что он был человек начитанный. Обучавшись в сельской школе только в течение полутора зим, он с охотой читал газеты и попадавшие под руку журналы. Журналами этими были разрозненные номера «Родины» и «Нивы». Обладая незаурядной памятью, многие из понравившихся ему рассказов он мог пересказывать почти наизусть, чем поражал многих приходивших его послушать. За годы работы портным и солдатской службы в царской армии у него сложились взгляды, которые я бы сейчас отнес к политическим

взглядам эсеров правого толка. Он говорил о земле, которая должна быть передана крестьянам, о создании республиканского образа правления, о свободе выборов, свободе предпринимательства и прочее.

Я, по деревенским меркам, уже находился в пред-жениховском возрасте, то есть в том возрасте, когда уже начинают засматриваться на девок и начинают выбирать какую-либо из них себе под пару. Здесь в деревне я понял, что ни парень, ни девка никогда не задаются несбыточными мечтами, не подбирают себе пары, которую можно охарактеризовать как неровня. Неровня – этим словом объяснялось все. В этом наблюдалось какое-то социальное расслоение. Нравственный облик молодежи был достаточно высок. Девки привыкли слушать матерщину всегда и везде, но не позволяли себе встречаться с парнем ночью один на один. «Говорить – говори, но в руки не бери», - как-то сказала мне моя молодая тетка. Боязнь прослыть распутной на всю округу и тем самым испортить себе будущее, крепко довлела над женской половиной деревни. Если говорить о парнях, то они могли говорить и петь прелюбопытнейшие частушки, но ни один из них никогда не решился бы сказать, что он переспал с кем-либо из девок, так как ему все равно не поверят, да навлечет на свою голову срам, да и костям может достаться. Носителями разврата в наших местах были сыроварки, да и то неоткрыто, а «благорасположением» купеческих сынков. Сыроварки большей частью были приезжими из дальних деревень.

По прибытию в деревню, я, с точки зрения ее жителей, был нищий. У меня не было надела земли и ничего из живности. Исходя из этого, я не был ровен ни одной девке в деревне. Но я был «образован», а это многое меняло. Ни одного, более образованного, чем я, в деревне не было. Вот почему людская молва решила, что ровней мне может быть дочка деревенского воротилы Кириллы Соколова – Аннушка, а не какая-нибудь Анька, в которых ходили все остальные деревенские Анны. Она действительно была самой грамотной не только женщиной, но и вообще человеком в деревне, после меня. И, следуя молве, как будто по поверью: «Глас народа – глас божий», она, то есть Аннушка, решила, что мы созданы друг для друга. Мы воспылали друг к другу нежными чувствами: были счастливы, если удавалось пройти несколько шагов, взявшись за руки, или посидеть рядом на бревнах на улице, или у них в саду. Она была чуть выше меня ростом с неяркими глазами и лицом. Ценителем женской фигуры я в то время был плохим, зато хороша была толстая коса почти до поджилок. Для меня эта увлеченность продолжалась месяцев шесть-семь, что же касается ее, то по прошествии буквально сорока лет я получил от нее очень печальное, написанное полуграмотным стилем письмо, где она говорит о продолжающейся любви ко мне. К этому времени она уже более тридцати лет была замужем и имела двух взрослых сыновей.

Живу нахлебником у отца и деда. Наносить с утра воды да съездить в лес за заготовленными с лета дровами – вот и все мои обязанности. В конце ноября разнесся слух о захвате власти в Питере большевиками, о начавшемся в

городе голоде и о спасающихся от этих опасностей горожанах. Первые сведения о большевиках я узнал от заходивших к нам в Питере солдат и из читаемого матерью бульварного листка «Петроградский листок», который, наряду с бесконечными продолжениями какого-то романа какой-то княжны Бевутовой, преподносил и «шпионские» злодеяния большевиков. Как солдатские новости, так и бульварные сообщения «Листка» были наивны, но и они воспринимались матерью, как светопреставление. Я же понимал это на свой лад. Видел, что рушится тот порядок, которым жил я и все окружающие меня. Жалеть мне было нечего, а надеяться на что-то лучшее я не мог, так как не знал, что можно жить лучше нашему брату. А ведь о другой жизни, хотя и туманной, необычной говорили большевики.

Итак, живу нахлебником. Пять пар сильных рук семьи деда легко справляются с крестьянской работой зимою. Отец «сориентировался» в этой обстановке и занялся, как теперь можно сказать, мелкой спекуляцией.

В 1918 году в Питере начался голод. В нашем Фоминском хлеба тоже было негусто, хотя имелась картошка. По инерции летом 1917 года все, как всегда, запаслись сеном, продолжая держать коров и продавая молоко Соколову. У Соколова тоже были немалые затруднения. Продавать масло купцам оптовикам перекупщикам он уже не мог, хранить масло долго нельзя, и Соколов начал продажу масла мелкими партиями по пуду - полтора. Продавал масло Соколов всем желающим, в том числе и отцу, который решил, если не разжиться, то приобрести собственный источник самостоятельного от семьи деда существования. Купив или взяв у Соколова полтора пуда масла, я с отцом отправлялся на Чесбару, частью по дороге, а частью по бездорожью, так как в то время на дорогах частенько «баловались». С грузом надо было втиснуться в теплушку или в вагон, здесь я, до некоторой степени, мог оказать своим опытом помощь отцу, и ехать двое или трое суток до Питера. Иногда приходилось ехать и на крышах, способ езды, в то время довольно обычный, но мало приятный в плохую погоду. А заград-отряды? По пути в Питер приходилось преодолевать две, а то и три завесы. Как правило, прочесывание и вылавливание мешочников производилось на станциях Бабаево и Тихвин. В Питере поезд подходил к платформе, уже заранее оцепленной заград-отрядом. У выхода группа красноармейцев осматривала по виду прибывших, подозрительных с багажом препровождали в досмотровый зал, этим занималась вторая группа отряда. Продукты, обнаруженные в багаже, изымались. Изымалось сало, мясо, масло и мука, остальное, если было в пределах разумных (пуд-подтора), пропускалось. Масло, провозимое нами, тщательно маскировалось, только один раз отец, сунувший пуд масла в футляр швейной машинки, был задержан. Масло было конфисковано, а отцу предложили по добру по здорову убираться, отец еще легко отделался— это было признано всеми. В моем мешке лежала только одна форма масла, килограмм восемь, обложенная со всех сторон картошкой. Ощупав мешок и определив на ощупь картошку, красноармеец про-

пустил меня. Провезенные и проданные полпуда масла полностью окупили все расходы на поездку. Таких поездок мы сделали семь.

Сделал и я один самостоятельную поездку. Дело было так. Собралась целая группа мешочников-спекулянтов из Фоминского, я было присоединился к ней. Собирались в группы, чтобы более безопасно добираться до станции, компанией забираться на крыши вагонов или висеть на подножках или буферах вагонов, приглядывать за мешками друг друга, охраняя их от расплывшегося вора. Группой легче было прорываться через заградотряды. Масла в Фоминском я не достал, надеялся, что достану на Чебсаре, и тоже провал, почему-то более взрослым с виду продавали, а мне - ни в какую. Махнул на станцию Дикая - два перегона к Вологде, тоже неудача. Тогда решил «тряхнуть стариной» и поехал, как и в прошлое лето, к Вятке. Проехав Вологду и Буй, добрался до Галича. В одной из ближайших деревень сторговал у кулака пуд ржаной муки. Он не только продал, но дал переночевать в каком-то чуланчике и, как голодающего из Петрограда, подвез до станции. Не доезжая полверсты до вокзала, он ссадил меня. Добраться до Петрограда и оттуда обратно в деревню было нетрудно. Опоздание из поездки очень обеспокоило отца, но само возвращение и то, что поездка окупилась, его успокоило. Больше я не ездил ни разу, ни с отцом, ни самостоятельно. Сгинуть человеку бесследно в ту пору было пара пустяков.

Придя к выводу, что спекуляция не дает веса в деревенском обществе и надежного прибýtка, мы с отцом решили заняться крестьянским трудом. Мы понимали, что хлебопашцы мы неважные, но посеять рожь нам бы помогли, а вот сеять то было нечего. Надо доставать семена, так как на месте их достать было невозможно - решили ехать за ними вглубь России.

Слезли в Балезино, что в двух перегонах от Перми, и начали искать продавца. Останавливались в домах более зажиточных. В тех местах деревни были марийские, но почему-то их называли то ли черемисами, то ли мордвой. Как особенность запомнился зажиточный дом, пятистенок. В горнице, на сундуке, покрытом каким-то половичком, были выставлены два русских сапога, до блеска начищенные ваксой. Жжиточность хозяина и богатство семьи было выставлено для обозрения. Закупив пуда три ржи, так как не было больше средств для покупки и сил, чтобы их довести большее количество, просидели в Балезино в тамбуре тормозного кондуктора, где и повернуться то было невозможно - боялись станционного начальства. Мы почти отчаялись попасть хоть в какую-нибудь теплушку, идущую на Вологду, но на счастье среди побитых вагонов и обшарпанных теплушек проступило чудо - мягкий вагон. Одна из площадок этого чуда охранялась проводником. Вторая дверь оказалась незапертой, чем мы и воспользовались. Сидя в тамбуре тронувшегося поезда, мы ждали, когда появится кондуктор и предложит вышвырнуться из вагона, и спасибо, если не на ходу. Отец пошел на отчаянный шаг. Войдя в вагон, он обратился к находившемуся в коридоре, как видно большому железнодорожному начальнику, с просьбой засунуть наши мешки к нему под мяг-

кий диван. Начальник не только разрешил засунуть мешки к нему в купе, но и сказал проводнику, чтобы не гнал нас из тамбура. К Чебсаре подъехали ночью, побеспокоив нашего благодетеля еще раз, забрали мешки и поблагодарив за проезд, с «шиком» сошли с поезда.

Купленная и привезенная нами рожь дала нам урожай сам три, хотя и высевалась на подсеке (правильнее подсеке – место с вырубленным и выжженным лесом, дававшее в первые годы неплохие урожаи). С такими хлебными запасами, с девятью пудами ржи, прожить вдвоем, да еще оставить что-то на семена, было невозможно. Нужно было искать выход.



1926 год. День регистрации брака с Надинкой (первая жена П.К.)
Надинка и Павел – слева, кроме них - две другие новобрачные пары



1927 Семинар секретарей первичных парт. Организаций. Кострома

Часть вторая

Красноречие

Сельский шкраб

Отец решил проблему просто. Поехал в волость, в село Воскресенское на Мусоре, где в исполкоме были его сверстники и знакомые, вернувшиеся с фронта солдаты, завершившие «октябрьский переворот» в нашей волости, изгнав урядника, прогнав станового пристава и образовав волисполком. Со своими, хотя и коммунистами, у отца был короткий разговор: «Имею сына, нужно пристроить на работу. Образование – законченное высшее начальное училище». Матюгнув отца, что скрывал наличие грамотного, меня сразу же поставили на должность учителя в соседнюю деревню Молоково. Я же, вызванный в волисполком к Валькову Степану Даниловичу, каким-то образом отвечавшему за народное образование, получил следующее напутствие: «Вот, Павлуха, Советская власть назначает тебя учителем. Без Советской власти учителем тебе бы не быть. Все *учителки* в нашей волости – поповские дочки позаканчивали гимназии и семинарии. Спасибо, что хоть ребят учат грамоте. Нам же нужно, чтобы учитель помог созданию комитетов бедноты, читал и разъяснял, что пишут «Правда», «Известия» и «Беднота», помогал проводить продразверстку, бороться с дезертирами и уклоняющимися от службы в Красной Армии. Но это в общем, а пока займись ликвидацией неграмотности среди взрослых, а также газетами. Потом по мере надобности будешь помогать Советской власти в остальных делах».

С замиранием сердца начал я свою работу *шкраба*, то есть школьного работника.

Итак школа. Только что отстроенный пятистенок с голыми стенами и с некоторым подобием парт, сработанных каким-то местным умельцем, и вычерченной доской на стене, для такой деревни, как Молоково был неплохим помещением для школы. Единственная табуретка для учителя и полное отсутствие каких-либо пособий дополняли картину этого заведения *наробраза*. В одном помещении, ну это, как и везде, должны были заниматься сразу три группы. В деревне было несколько человек, ходивших зиму, а то и две в школу на Саре, это верстах в трех от Молоково.

Занятия начинались с молитвы. Каждый день молитву «Отче наш» читал ученик третьего класса. Молитва читалась по настоянию председателя Молоковского сельсовета. В его представлении, да и в представлении всего населения деревни, иначе и быть не могло. Однако со временем ученическая лень и мое пренебрежение к молитве свели на нет это мероприятие. Начало занятий, их продолжительность и время окончания регламентировались, можно сказать, петухами и моим настроением. С учениками учеба поддавалась туго, значительно легче было учить взрослых. По предписанию председателя все того же молоковского сельсовета, три раза в неделю все взрослое население деревни собиралось в школе, где я учил их узнаванию, написанию и чтению букв, а потом и слов. После «письма» и «чтения», я ввел за правило чтение стихов. Это я делал сам, читал Кольцова, Никитина, Некрасова. Ну, а между ними я зачитывал выдержки из газет «Известия» и «Беднота». Нужно сказать, что всем этим я добился нужного для волостной парторганизации эффекта.

Население деревни состояло из солдаток, вдов, древних стариков и подростков, не считавших до этого времени необходимым посещать школу и обучаться грамоте. Что же касается мужиков, то все они были в Красной Армии или в дезертирах, уклоняясь от призыва скрывавшихся в окрестных лесах, которые густой стеной вставали сразу же за небольшими огородниками. Для читки газет и проведения бесед меня стали приглашать в соседние деревни: Фоминское, Шаламово, Дьяконово и другие.

Весной 1919 года, в уезде, а наш уездный город был Пошехонье, как видно поняли, что по уровню своих знаний я в учителя не подхожу, и, вызвав меня в город, направили на всю весну и лето на курсы ликвидаторов неграмотности. Вместо меня учителем был назначен в Молоково некто Нагорный, по фамилии было понятно, что происхождение у него было поповское.

Имея превосходство в образовании над моими сверстниками, я, если и ходил на беседы, проводившиеся по давним традициям в деревнях, то на них держался обособленно. Друзьями, с которыми я иногда проводил время, были Костя Мельников, Колька Игнатия Артемьева и Петр Соколов, брат моей деревенской симпатии.

К весне 1919 года моя мать с Николаем тоже перебрались в деревню, в Новинку.

В Пошехонье за шестьдесят верст от Фоминского меня вез, еще по санному пути, мой младший дядька Дмитрий. Через Сохотский лес, где пролегалла наиболее близкая дорога в Пошехонье, можно было проехать только зимником и то, если не бояться волков. С весны до глубокой осени эта дорога была непроезжей. В другое время в Пошехонье ездили через Водугу, а это верст на двадцать больше, да еще с гаком.

Дороги бывают разные! Вот дорога от Фоминского до Чебары: четыре версты от Фоминского до Молокова – выгонами, выгородами и полями, небольшой, около версты перелесок, а за Молоковым – двенадцать верст сплошным лесом до Митино дорога частично шла по берегу речки Сарки и пересы-

хавшей летом и широко разливавшейся весной и осенью речки Бадья. Сколько по этой дороге было отворотов к лесным покосам - не счесть. Сколько петлял я по этой дороге, проходя вместо двенадцати верст по двадцать! Один раз, выйдя из Митина и проплутав по пути в Молоково часа четыре, вновь подошел к Митино.

Возвращался я как-то из Питера, еще во времена моих поездок с маслом, через это Митино. Перед входом в лес решил подкрепиться и зашел попить чайку, была какая-то изба, наподобие корчмы, или постоялого двора в Митино. Попил чаю, расплатился и, пройдя яровое митинское поле, на опушке леса услышал позади винтовочный выстрел и свист рядом пролетевшей пули. Понимая, что оставаться на дороге нельзя, я выюном юркнул в кусты и пригибаясь припустил глубже в лес, придерживаясь параллельно дороге. На первой прогалине я заметил штук десять копен с накошенным сеном, юркнул за одну из них, закопался в сено и затих. Мне, вроде бы, послышались крадущиеся шаги, но, может быть, это почудилось со страху, не знаю, искать меня в десятке копен было бы не легко. Согревшись и успокоившись, я уснул и уже за светло благополучно добрался до Фоминского.

От Митина к Чебсаре деревни шли одна за другой: Гузново, Павликово, Прокудино, Братково (с чудом сохранившейся барской усадьбой – домом с мезонином и колоннами), Молодки.

Идти лесом было тяжело не только потому, что было не заметно пройденное расстояние, но и из-за комарья, не дававшего покоя всю дорогу. В конце лета по обочинам дороги сплошь стояли облепленные ягодами кусты малины. Дорога тогда увеличивалась, если не в длину, то по времени - раза в два.

Время, проведенное на курсах, было самым счастливым и радостным из тех восемнадцати лет, уже прожитых мною. Было голодно, небольшой успех превращался в триумф, а небольшая неприятность бросала меня в глубокое горе, но все равно – тогда мне все было по плечу. Время это было еще памятно и потому, что я опять был влюблен и опять без взаимности. Это была моя соученица Лиза Студийка. Как и положено, я не спал ночами, вздыхал, бросал влюбленные взгляды. Если бы я был испанец, то их можно было бы назвать огненными. Но напрасно. Мой объект воздыхания был влюблен в моего друга Диму Потехина, и все мои любовные потуги вызывали только насмешки с ее стороны.

К этому времени относится и встреча с одним замечательным человеком, неким Дубровским. Это был преподаватель литературы, на курсах он сумел показать мне всю прелесть творений художников русской классической литературы: Толстого, Тургенева, Лермонтова и Пушкина. Приобретя вкус к русской классике, я особенно был увлечен Тургеневым. Я ощутимо остро стал воспринимать выведенные им женские типы кристально чистых, преданных, удивительно красивых по складу ума и сердца. Это осталось у меня на всю жизнь, хотя та же жизнь убеждала меня как обыденно и мои друзья и знако-

мые мне женщины, легко относились к половым связям. К этому примерно времени относится такой случай.

Одна из стареющих волостных дам, типа полковых, годящаяся мне в матери, решила совратить меня. Она, жена агронома, работавшая библиотечаршей, заметив мое увлечение Тургеневым, как-то завала меня в библиотеку, прерывисто дыша мне в лицо, призывала не верить идеалам, относиться к женщинам нахально, «они это любят», и предложила делать то, что делает она, то есть снимать штанишки... Дело кончилось тем, что я позорно бежал от этой «волостной мессалины». Вот так случается с классиками!

В ночных беседах с Димой Потехиным, откровенничая и делая планы на будущее (они уже стали как-то формироваться), вместо простого следования событиям, мы пришли к выводу, что нужно «записаться», как тогда говорили, в партию. Если бы я следовал советам родителей, то никогда большевиком бы не был. Они увели бы меня совсем в другую сторону.

Следуя по пути матери, я бы превратился в прижимистого ханжу, человеконенавистника и мелкой души стяжателя. Да что же можно было спросить с моей матери. По ее мнению все от бога, живи оторвано от других и помни, что все, живущие вокруг тебя, норовят одно – как бы развиться за твой счет. Работай в поте лица, никого к своему сердцу и душе не подпускай и будешь ты сыт, и уважаем другими. Я наблюдал, как мать целыми часами на коленях «выползывала» около привередливых заказчиц. Как она приходила с примерки с мокрым от пота лбом и волосами.

Отец был человек другого рода. Общительный и не лишенный здравого смысла, он легко обходился с окружающими его людьми и пользовался с их стороны уважением. Он, так же, как и мать, считал, что только трудом можно прожить, хотя иногда и был не прочь заработать и на левой «стороне». В отличие от матери, он не верил в бога, презирал попов и, несмотря на необразованность, был достаточно начитан. Он обладал большой памятью, читал газеты и по своим мировоззрениям, как мне кажется, был ближе к эсерам. Ни в какой партии он ни до революции, ни после нее не состоял. В своих суждениях он всегда был противником коммунистов, считая их узурпаторами, отодвинувшими в сторону крестьянство, которое в России должно было бы задавать тон всему и во всем.

С матерью я споров вести не мог. С пеленок я был приучен, что разговор с ней был короток... пощечина и заявление «Твое дело молчать, слушать и не возражать, когда говорит мать».

С отцом было выгоднее. В обвале рухнувших на Россию событий и ему тоже хотелось выговориться. Для этого у нас в деревне и во время поездок было достаточно времени. Отец почти дословно пересказывал ранее прочтенные и понравившиеся ему рассказы и истории. Раньше он рассказывал их случайно и редко заходившим к нам гостям, а потом около него в трактире собирался небольшой кружок его почитателей. Отец свысока смотрел на своих «трактирных почитателей»: «Ну, что ему надо? А надо ему, чтобы я влил ему

сороковку». (Сороковка – одна сороковая часть ведра). Он не относился ко мне, как к своим случайным знакомым, но по какой-то, может быть, отцовской, причине частенько ставил меня в глупое положение. Глупое, потому, что я не мог ничего сказать ему, а ему доставляло некоторое удовлетворение наблюдать, как я барахтаюсь, беспомощно подыскивая слова и понятия, которые могли бы опровергнуть его. Ответы я искал везде и находил их в газетах, книгах, и журнальных статьях. Это они и начали формировать мое новое большевистское мировоззрение.

Готовясь к встрече 1 мая, наши курсы по подготовке учителей решили украсить фасад здания бывшей прогимназии, где они располагались. Украшение свелось к тому, что были связаны из слового лапника гирлянды, декоративно обрамлявшие две вырезанные из бумаги женские фигуры, трубящие в трубы. Фигуры были в полтора – два раза больше человеческих. Так наш живописец Люда Львова решила провозгласить идеи Первомайского праздника. Фигуры женскими можно было назвать с некоторой натяжкой, по существу это были фигуры архангелов, провозглашавших приход страшного суда, но по случаю революции, лишенные крыльев. Мне пришлось закреплять этих «архангелов» вместе с преподавателем курсов, только что закончившим духовную академию, человеком с виду тихим и благообразным. Высунувшись из окна третьего этажа и приколачивая гвоздем какую-то часть аллегории, он стукнул себя по пальцам молотком, выронил его и разразился матом залиvistее и громче, чем смогли бы оба архангела протрубить в трубы, поднимая грешников успешных на страшный суд.

В конце августа 1919 года, мы закончили курсы по ликбезу, не получив никаких свидетельств об их окончании, были распределены по школам уезда. Я снова попросился в Молоково, в знакомые места. Там недалеко продолжали жить отец - в Фоминском, мать с сестренками – в Новинке. Мария, правда, уже поступила учиться в школу второй ступени в Братково. Близость родителей облегчала мое экономическое положение, так как на зарплату шкраба можно было купить разве лишь полпуда картошки.

Теперь занятия я уже начинал не с молитвы, а с пропаганды новых времен, когда путь к знаниям открыт для всех. Писали на оборотной бумаге, когда она была. С трудом доставали мел и с еще большими трудностями добывали карандаши. Жил я у бобылки, питался картошкой и вместе с учениками обедал в столовой горячей похлебкой, сваренной из реквизированных у какого-либо кулака или купчика из окружающих деревень продуктов и мяса.

В 1918 году и начале 1919 года я еще был беспартийным, но председатель волисполкома Камрашов и волостной военком Васильев поручали мне работу по вовлечению деревенских ребят в РКСМ. На мой взгляд никакой пользы моя агитационная работа по организации ячейки комсомола не дала. Однако, она была оценена положительно, и еще в Пошехонье работник укома РКПб Карегин поинтересовался, почему я не в партии. Когда я в октябре 1919 года подал заявление в Воскресенскую ячейку РКПб, то был принят, и в декабре 1919

года получил партбилет, отпечатанный в Ярославле губкомом РКПб. Партбилет был подписан Васильевым. Вместе с партбилетом мне вручили и нагансамовзвод и пять патронов к нему. Больше патронов в волкоме не было. Мне разъяснили, что по тревоге я должен буду прибегать в Воскресенское с оружием.

С момента вступления в партию моя работа, а с нею и вся моя жизнь значительно изменились. Я сразу же почувствовал это. Окружавшие меня стали более осторожны в разговорах, а я стал более категоричен в своих суждениях. Я стал ощущать, что за моей спиной, не то, что раньше, где была пустота, стоит сила, представителем и частью которой я являюсь. Наряду с ликвидацией неграмотности, на меня была возложена обязанность обеспечения продразверстки. Как у нас проводилась продразверстка? Вся наша губерния никогда не считалась производителем хлеба на продажу. Крестьянство жило за счет отхожих промыслов, посевов льна, овса и продажи молока. Наша волость издавна считалась бесхлебной, но в тот голодный 1919 год продразверстка проводилась и у нас. Делалось это так: *Упродком* (уездный продовольственный комитет) разверстывает спущенный губернией план по волостям с указанием, сколько пудов ржи волостью должно быть сдано. В волости эти цифры распределялись по деревням. Волостной комитет партии мне как коммунисту поручал доказать крестьянству двух-трех деревень необходимость выполнения этого задания в точно указанные сроки. Я же действовал так: прихожу в деревню (Дьяконово, Шалимово или в свое Молоково) к председателю комитета бедноты и прошу собрать сход. Надо сказать, что и создание этих комитетов бедноты часто было тоже делом моих рук, и делом очень нелегким, так как в состав их никто входить не хотел. На собранном сходе, мы объявляли, кто и из каких крестьянских хозяйств и сколько должен сдать пудов хлеба. Кто и сколько мы предварительно решали в комитете. Количество сдаваемой ржи колебалось от двух до трех десятков пудов в зависимости от состояния хозяйства. Обычно на сходе поднимался гвалт и вот тут-то председатель предоставлял слово мне. Принимая за образец содержание и тон изложения речи, применявшийся ораторами уездного масштаба, я сразу переходил на крик, призывая «Уничтожить стоглавую гидру контрреволюции», описывая голод в городах, говорил о необходимости кормить сыновей, отцов, мужей в Красной Армии, которые голодными «забывают осиновый кол в могилу мирового капитализма». Несмотря на мои громкие и напыщенные речи, а вполне вероятно и из-за них, особого успеха я не имел. К установленному сроку приносили ржи, что называется – «кот наплакал». После этого на сходе объявлялось, что если разверстка выполнена не будет, то представители комбеда совместно со мной, как с представителем *волкома* РКПб, пойдут по домам с обыском и уж в этом случае весь найденный хлеб будет конфискован полностью. В моей практике были два случая, когда с опасностью для жизни, в одном случае нищенка, а в другом горбатый бобыль, ночью тайком сообщили, где прячут хлеб двое из отказавшихся выполнить разверстку крестьян. У одного мешки с хле-

бом были спрятаны в картофельной яме, у другого в копне сена. Итак, после обыска у обоих крестьян, вся найденная рожь была конфискована. Несмотря на слезы и жалобы, продрозверстка выполнялась. Такая работа была неприятна и опасна, но для коммуниста в деревне всегда был фронт.

Моя учительская работа шла своим чередом. По четвертому году у меня училось двое, по третьему – пятеро, по второму – семеро, и первоклассников было двенадцать.

Что касается личной жизни, то она сводилась к написанию писем к моей любви того времен Лизе Студитской и моему другу Диме Потехину. Дима был неравнодушен к Оле Гусевой, и она отвечала ему взаимностью. Лиза была неравнодушна к Диме, а мне возвратила мое письмо в резолюцией – «Люблю другого». Собирались встретиться с Димой летом в Пошехонье, а пока в волости, в Воскресенском встречался на совещаниях *шкрабов*, на профсоюзных собраниях и на самодеятельных вечерах с местными учительницами. Их было около двадцати, а мужчин только двое – я и Тихов, пожилой и женатый человек, учительствовавший в Архангельском на Саре уже лет пятнадцать. Все учительницы были поповнами и старыми девами. Им нужны были женихи или, на худой конец, мужики.

Читать, кроме газеты «Беднота», было нечего, поэтому в это время я усиленно штудировал «Астрономию» Фламарiona. Нет в моей жизни более унылых и безрадостных дней, чем в Молоково. Народ в деревне жил грязно, во всей округе не было ни одной бани. Люди мылись в русских печах. Заболеть было немудрено, и я где-то подхватил чесотку. Вся моя задняя часть покрылась струпами так, что я не мог ни сесть, ни лечь. Сказать об этом родителям я стеснялся, пока мой отец не обратил внимания на нелепую позу моего сидения на лавке. Узнав в чем дело, отец заставил меня снять штаны и, затратив на мою задницу и окрестности ее целую бутылку дегтя, надежно все смазал. Через неделю я был здоров.

Создание в мае 1920 года партийной школы в Пошехонье было знаменательно тем, что это, пожалуй, была первая попытка партии наладить в дальних и захолустных уголках нашей страны хоть какую-нибудь партийно-воспитательную работу с молодыми коммунистами. Школа была рассчитана на обучение в течение двух недель. Не помню в деталях, кто и чему нас учил, была ли программа - тоже не знаю. Нас было человек двадцать. Преподавателями были члены Укома РКПб, заведующий Управлением Народного Образования, уездный прокурор, уездный военком и заведующий отделом народного хозяйства. Проживали мы, приехавшие из глубинки, в общежитии при школе, местные жили по домам. Питались, кто чем мог, и мизерной нормой УКОмского пайка. Слушателями школы были я, Дима Потехин и еще один паренек, потерявший ногу на фронте. Остальные были женщины, главным образом жены местных партийных и советских работников. Они намеривались вступить в партию и считались сочувствующими. Коммунисты в волостях насчитывались единицами. Да и те по горло были заняты своей опасной,

полной тревоги и волнений работой на местах. Нужно было отстаивать в борьбе с врагами работу органов Советской власти, осуществлять призывы и мобилизацию в Красную Армию, выбивать продрозверстку, бороться с дезертирами и с появившимися кое-где бандами «зеленых», наблюдать за кулаками, пресекать распространяемые ими слухи о скором и неизбежном падении Советской власти, после которого обязательно должно последовать поголовное уничтожение коммунистов и всех, кто им помогал.

Укомовцы проводили ту же работу только в более широких масштабах, занимаясь с нами, они заряжали нас великой ненавистью к уничтоженному, но до конца не искорененным порядкам старого режима. В основном это были солдаты-окопники, вступившие в партию на фронте. Образованием они не блистали, но у них было одно, что вполне заменяло им все – огромная ненависть к старому строю и порядку. Сейчас мы с иронией говорим о митинговых ораторах, а в то тяжелое время рядовым работникам была нужна не столько теория, сколько заряд ненависти к классовым врагам и ясно выраженная поддержка товарищей. Все речи наших «преподавателей» были до предела эмоциональны. Занятия в школе прервались на двое суток, когда уком призвал нас взять винтовки и идти в отряд коммунистов для того, чтобы отразить возможную попытку захвата Пошехонья-Володска бандой «зеленых», собравшейся в Сохотском лесу. В Пошехонье воинских частей не было кроме небольшого отряда, несшего караульную службу и сопровождавшего мобилизованных в Рыбинск. Было всего десятка два-три винтовок Бердана и наганов, имевшихся почти у каждого коммуниста. В отряд были включены все партийные и советские работники. Но среди них было мало бывших солдат и слишком много вояк, вроде меня. Вручая мне винтовку, военком только спросил, стрелял ли я когда-нибудь? Я сказал, что стрелял всего два раза из нагана и столько же из охотничьего ружья. Этого оказалось достаточным для получения оружия. Особо комичную фигуру в нашем отряде представлял зав.отделом народного образования. У него одна нога была короче другой, ходил он всегда с тростью и носил пенсне. Получив берданку, он просто не знал, куда ее девать, и постоянно пытался использовать ее на манер трости. Фамилия его была Гвоздев. Позднее, года через три, он сошел со стези народного образования и партии вообще, и открыл в Пошехонье чайную.

Ранним утром, поднятый по тревоге, наш отряд выступил по направлению деревни Суковатка, граничащей с огромным массивом Сохотского леса. Выставили дозорных и стали ждать появления банды. Но тревога оказалась напрасной. То ли банда узнала о готовящейся для нее встрече, то ли еще по какой причине, но она «растворилась» в лесах и перестала существовать.

По окончании партшколы, меня, оказавшегося в отпуске и не у дел школьных, уком решил использовать на должности своего разъездного инструктора. Я охотно с этим согласился и, получив мандат с требованием к местным властям оказывать мне всяческое содействие в проводимой мною работе: как-то транспортом и по возможности продуктами, спрятав в карман боекомплект

патронов к гагану (целых четырнадцать штук), прихватив с собой приставленного ко мне секретаря, симпатичную гимназисточку Олю для составления протоколов собраний, я отправился в путь. Я должен был проверить, как идут на местах дела в комсомольских ячейках РКСМ, а где их нет – организовать. Таких комиссий, как моя, было несколько. Надо сказать, что время для проведения такой работы было выбрано неудачно. Май месяц – начало летней страды. Пахота, озлобленность населения в связи с наступившим голодом, наличие банд – накладывало свой отпечаток на работу в деревне. Мне были поручены районы Водога, Телешино, Мусора. Это были две волости Вологодская и Мусорская площадью примерно тысячи три квадратных верст. Чтобы посетить хотя бы центры этих волостей, мне нужно было бы проселками проехать 160-180 верст. От деревни до деревни, пользуясь мандатом, мы перемещались на подводах, причем иногда возницы не было. Нам говорили: «Уж вы доберитесь до деревни, куда вам надо, а лошадь отдайте Иван Иванычу, мы у него доберем днями». Люди боялись сопровождать нас. На ночь, если ночевали в какой-либо избе, нам стелили вместе. Ольга залезала в постель первой, а мне ни гу-гу..., так я и проводил ночи кое-где и кое-как. Иногда вместо телеги мы ехали просто на одре (или одреце – телеге с наращенными копыльями впереди и сзади и с более высокими бортами, для перевозки снопов сена). По окончании моей командировки я задумался, а какой результат? Собрания обычно заканчивались ничем. Желающих записаться не было. Какая была необходимость нам ездить? Любому из нас, в любое время могли свернуть шею. Людей, ненавидящих партийных и тех, которые считали себя ущемленными Советской властью, было сколько угодно, не говоря о «зеленых», для которых пристрелить коммуниста было раз плюнуть. По возвращении с нас никаких отчетов не потребовали – коммунист, так считалось, сделал все, что мог. О результатах моей поездки я написал в местную газетку небольшую статейку, в которой в пух и прах разнес местное учительство за косность и мешанство. Прочитать ее мне не удалось, так как я был призван в Красную Армию. Дима позже написал мне в письме, что моя заметка в газету была опубликована. Меня командировали в волости в агитационных целях потому, что в партшколе в свободное от занятий время мы собирались на специальную тренировку «в произношении речей» и там я прослыл неплохим агитатором. Как это ни странно, но с этой поры я зачислил себя в агитаторы своей партии.

В то время руководителей уездной и волостной парторганизации именовали председателями. Необходимо отметить и широко применявшееся одновременно гордое звание Комиссар. Комиссарами называли не только военных, но и гражданских работников. В волости, например, кроме волвоенкома, были волпродкомиссар, комиссар земельного отдела, комиссар здравоохранения. Заведующими почему-то называли только работников народного образования.

Пошехонским уездным комиссаром я и был призван в Красную армию, и прямо из Пошехони, заехав к отцу и к матери, и не попрощавшись с сестрами, отправился с группой призывников в сопровождении двух красноармейцев

вначале пешком до Ягорба на реке Шексна, затем пароходом до Рыбинска и наконец железной дорогой в Москву. В отличие от моих спутников по призыву, нагруженных котомками с сухарями и кое-какой другой снедью, я имел небольшой фанерный чемоданчик, где лежал полученный мною при вступлении в партию наган, фунта два хлеба и с полфунта чайной колбасы. Сейчас не помню, взял ли я пару портянок и пару белья, скорее всего, по своей беспечности, не взял. На мне в то время были еще пригодные к носке сапоги, рубаха, темно-серый шеветовый пиджак и такие же, заправленные в сапоги, штаны. На голове, безусловно, была фуражка.

Хлебом и роскошью – чайной колбасой – меня снабдила не то девушка, не то женщина, которая по малопонятному для меня поводу приняла участие в проводах меня в армию. Надо сказать, что ночь перед отправкой я провел с нею в одной кровати. Откуда она взялась? Может, сжалилась надо мной, одиноким призывником, а, может быть, она была из тех особ, которые не прочь побаловаться с человеком, который завтра «канет в Лету»... Но как бы то ни было, она привела меня к себе, оставила меня ночевать, легла в кровать, оставив мне место. Как сейчас помню, я лег и думаю, а что же делать дальше? Она ничего не делает, молчит – молчу и я. В конечном счете, мы оба заснули. Проснувшись, ни она, ни я не были ничем смущены. Вроде бы ночь прошла как надо... Она меня угостила колбасой и положила в чемодан ту снедь, о которой я уже поминал. Меня смущало только наличие колбасы. В Пошехонье колбасу никто тогда не изготавливал, и в продаже в 1920 году она не появлялась. Полагаю, что моя «покровительница», по-видимому, только что приехала из Рыбинска.

Москва 1920 – 1921: дискуссия о профсоюзах

Итак, я красноармеец Первого запасного полка Второй литерной роты. Полк расквартирован в лагерях на Ходынке. Все для меня ново, все необычно. Живем в палатках по двадцать человек в каждой, десять человек на нарах по обе стороны от входа. Тесно, но зато по ночам не холодно. На нарах – солома, накрытая плащ-палатками, накрывались тоже палатками. Обмундирования не выдали, а обучение строю начали. Лагерь порашил меня своей величиной, в нем действительно было установлено более тысячи палаток. Кроме нашего запасного полка, численностью в восемь-девять тысяч человек, тут были расквартированы и другие части. Полковой адъютант, встретивший нас у штабной палатки, построил нас в шеренгу по два и почти сразу же подал команду «коммунисты и комсомольцы – два шага вперед!». Из строя, а в строю было человек сто пятьдесят, вышел только я один. Адъютант записал мою фамилию и приказал стать обратно в строй. Минут через десять прибыли помкомвзводы и развели нас по ротам. Начали занятия по шагистике, которые проводил ко-

мандир взвода, бывший прапорщик царской армии. Все обходилось без крика и какого-либо цыканья. Ему показалось, что я размахиваю руками не в такт шагам, он меня вывел из строя и заставил перед отделением, а потом перед взводом прошагать и сделать повороты. Все, как и надо при одиночной подготовке бойца, но, вызывая меня, комвзвод говорил, обращаясь ко мне и ко взводу: «А теперь посмотрим, как шагает коммунист». После занятий, я, имея в руках партбилет, пошел искать партбюро, которое размещалось в полковом клубе. Предъявив свой партбилет и заполнив анкету, я переговорил с председателем партячейки Химиным, который представил меня комиссару полка Посечкину. Комиссар порекомендовал Химину кооптировать меня в партбюро полка, поскольку мне уже приходилось проводить агитационную работу. Несколько позже я начал выполнять обязанности политрука, а в конце месяца (августа) приказом был назначен в ту же роту политруком. Так я стал политработником Красной Армии.

Ежедневно провожу беседы по теме «От Красной гвардии к Красной Армии». Материала газетного и брошюр – хоть отбавляй. Как не странно, мне помогала неграмотность или полу грамотность красноармейцев. Что греха таить я в то время был очень горд собой, видя с каким пристальным вниманием слушают меня- «молокососа» люди, по возрасту годившиеся мне в отцы. Была и другая работа – участие в заседаниях бюро парторганизации полка. Сейчас я не могу вспомнить, какие вопросы мы решали на бюро. Кажется, только о работе каптенармусов и о борьбе с дизентерией. Дело в том, что лагерь осаждали торговки яблоками и ягодами, которые обменивались на четверть или полпайки хлеба. Сам комиссар полка Посечкин, как заправский милиционер с наганом, сбившимся на ремне чуть ли не на спину, изгонял торговок с задней линейки лагеря. Раз в неделю, а может быть и в две недели, мы - политруки рот, собирались в клуб полка на занятия, которые проводились не кем-нибудь, а ближайшей соратницей В.И. Ленина – Р.Л. Землячкой. Мы почему-то изучали «Конституцию РСФСР» и у каждого из нас на руках была небольшая брошюрка с плохо изданным текстом конституции. Отдельные положения конституции нам и истолковывала наша руководительница. Ее фамилия Землячка мне тогда ничего не говорила, а ведь она была начальником полуправления МВО и считала своим долгом хотя бы раз в две недели побывать в самом многочисленном полку московского гарнизона. Моя активность и интерес к занятиям были подмечены ею и она в конце третьего или четвертого занятия сказала, что следующее занятие без нее пусть проведет Коновалов, то есть я. В эти дни я ходил буквально «петухом». Я уверился в своих способностях агитатора и пропагандиста, и уверил себя настолько, что все последующие годы я не боялся выступать перед любой аудиторией. В своей среде в те годы и позже я почти не встречал товарищей, обладавших большей эрудированностью в вопросах агитационно-пропагандистской работы. В «свердловке» и в «зиновьевке» (такие комвузы тогда уже существовали), конечно, я был бы не так смел и нахален, как в своих местах. Эти качества мне

позволили, в сочетании с некоторой начитанностью и с незаурядной в молодые годы памятью, выступать с докладами и лекциями перед аудиториями, начиная от уголовников в тюрьме города Шуи до профессорско-преподавательского состава в институтах.

Не помню, провел ли я в назначенный день свою беседу с политруками, пожалуй, нет, так как с наступлением осени полк перебрался в свои Астраханские казармы. Но перебрался он не весь сразу. Несколько рот были оставлены в лагерях вплоть до пятнадцатого октября. Оставили и меня, но уже в новом качестве – «комиссара остатка». В этих условиях я должен был вести политработу, которая в конце концов сводилась к разъяснению, почему мы задержались в лагерях, как в этих условиях нужно жить и продолжать военную подготовку. Житуха, конечно, была неважной. За ночь палатки покрывались инеем. Внутри палатки еще было терпимо, а вот «выгонять» красноармейцев в летних гимнастерках на утреннюю поверку и на занятия – это уже была проблема не из легких.

В этот период мне пришлось испытать одну из самых неприятных историй в моей жизни. Однажды под вечер уже в темноте ко мне в палатку прибегает каптер, кричит, что толпа красноармейцев «разносит» его каптерку и уничтожает пайки хлеба, которые он заготовил для выдачи. Тут надо сказать, что каптерка представляла собой изготовленный из теса шалаш, прикрытый от дождя толем. Высота этого сооружения была не более сажени. Так вот человека два или три подобралась к шалашу и, приподняв толь, начали вытаскивать нарезанные и уложенные горкой пайки. При своей молодости я сейчас же выскочил, выхватив наган, и сразу же полез в середину толпы красноармейцев, осаждавших каптерку, изрыгая ругательства по поводу хулиганских проделок и нарушения порядка. Красноармейцы отлично знали меня в лицо и в большинстве случаев относились ко мне с большой симпатией, но были в их среде и такие, которые были обозлены, если не на меня лично, то на коммунистов вообще. Почувствовал я это после того, как получив сильный толчок в плечо и споткнувшись о подставленную мне ногу, распластался в середине собравшейся толпы, не выпуская, впрочем, из руки нагана. Как хорошо, что в этой обстановке я не произвел выстрел, так как в противном случае я был бы растоптан и растерзан толпой. Страшно мне стало не тогда, когда был опрокинут, а только после того, как выскочил из толпы. Страх и злость выразились в той команде – «Отойти от каптерки и встать в очередь за получением пайки!». Почувствовал в моих словах угрозу, толпа поредела и выстроилась в очередь. Каптер, конечно, паниковал, никто каптерку не грабил, а утащили всего несколько паек. Кто меня окружал в толпе я не заметил, а младших командиров в толпе не было. Дневное расследование, проведенное мною, никаких результатов не дало.

В конце 1920 года в партии развернулась дискуссия о профсоюзах. Троцкисты и ряд других руководящих работников, учитывая, что Троцкий был

наркомвоенмор, рассчитывали найти своих сторонников в первую очередь в армейских парторганизациях. Дискуссия, конечно, не обошла и парторганизацию нашего полка. Хамовнический райком РКПб Москвы предложил комиссару полка Посечкину провести партсобрание коммунистов полка и на собрание послал своего представителя – докладчиком, так как в полку не было товарищей, которые бы могли разобраться толком в вопросах профсоюзного движения. Почти все коммунисты полка в профсоюзах никогда не состояли, были выходцами из крестьян – вступили в партию в годы войны. Посечкин, зная, что до вступления в ряды Красной Армии я состоял несколько месяцев в профсоюзе работников просвещения, предложил мне на этом собрании выступить в прениях. По своей молодости я, ничего не смысля в вопросах профсоюзов, взял слово и выступил. Мое выступление было слабым, да если правду сказать, никудышным. Я, услышав из доклада, что Троцкий решил «перетрясти» профсоюзы и военизировать их, свое выступление начал с того, что вот, мол, мы «обобрали» и «прибрали к рукам» деревню, а Троцкому даже этого стало мало и дело дошло до того, что троцкисты хотят к рукам прибрать и рабочих, а раз так, то мы должны эти намерения Троцкого заклеить и поддержать точку зрения товарища Ленина Владимира Ильича. Когда докладчик слушал в изложенном мною аспекте о крестьянстве, он явно покривился, но так как я все же свое выступление окончил «во здравие», то есть за признание ленинской точки зрения, то он мне и собранию ничего не сказал, будто так все и надо. Собрание, как и было тогда положено, вынесло краткую, но выразительную резолюцию о полной поддержке В.И.Ленина и заклеило платформу Троцкого.

Дней через пять после партсобрания комиссар полка на партбюро ячейки вручил мне пропуск на заседание 30 декабря 1920 года в дом Союзов членов ЦК РКПб, МК РКПб, членов ВЦСПС, членов МГ СПС и членов РКПб. Комиссар заявил, что на весь полк выдан только один разовый пропуск, и партбюро полка решило выдать его мне как человеку сведущему в вопросах, стоящих перед профсоюзами в данное время. Он также сказал, что на этом собрании должен присутствовать и выступить Ленин.

Собрание началось днем, точного часа начала заседания я сейчас не помню. Я пришел с опозданием. Меня поэтому пропустили только на балкон. Когда я уселся и рассмотрел всех сидящих за столом, то был разочарован, Ленина – не было. Слушая в пол-уха выступления ораторов о вещах мне мало понятных – в выступлениях то и дело употреблялись такие термины как «тред-юнионизм», «производственная демократия», «синдикализм» и даже «анархо-синдикализм» - меня даже не увлекло выступление такого оратора как Бухарин, по книге которого «Азбука коммунизма» я усваивал основы марксистской теории. Я хотел только увидеть Ленина, а его в президиуме не было. Но вдруг зал возбудился, это собравшиеся аплодисментами встретили появившегося откуда-то сбоку Владимира Ильича Ленина. Он показался мне меньшего роста, чем я представлял, и одет был, как и все присутствовавшие в зале, в

пальто. (Была зима, декабрь и здание, как мне показалось, в то время даже не отапливалось). Лицо Владимира Ильича было именно таким, каким я его видел на фотографиях, разве что более утомленное. Глаза его, сидя на балконе, я, конечно, разглядеть не мог. Все мое внимание было сосредоточено на том, как будет начинать и что будет говорить Ильич. Привыкший к митинговым выступлениям всех ранее слышанных мною ораторов, я рассчитывал, что голос Владимира Ильича должен быть громок, и что речь его будет наполнена лозунгами, вроде «Уничтожим гидру мирового империализма и всех его белогвардейских наемников», и тому подобное. Ничего этого в речи Владимира Ильича не было, и по тому, как притих зал, я начал понимать, что Ильич берет аудиторию в руки совсем не так, как я предполагал. Зал слушал вождя. Зал впитывал каждое его слово и все присутствующие, как мне казалось, были заморожены именно тем, что они слушают человека, стоящего во главе партии и революции. Должен признаться, далеко не все я понял в речи Ленина. Слишком уж я был малограмотен в политике партии, и особенно в вопросах профсоюзного движения и работы в нем. Прослушав Ленина, я, по сути дела, впервые понял, что дело революции - это не только вооруженная борьба классов, которую мы вели против белогвардейцев и интервентов, но и организационная работа в массах, в профсоюзах и на фабриках в целях налаживания производства на них. Я знал, что дезертирство - это уклонение от службы в Красной Армии, но из слов Владимира Ильича я понял, что судьба революции и советского государства не в меньшей, а, пожалуй, в большей степени зависит от организованности масс народа и его трудового энтузиазма.

Зимой 1920-21 года в нашем полку формировались маршевые роты, которые предназначались для подавления Антоновского восстания на тамбовщине. С одной из рот должен был направиться и я, но неожиданно, буквально накануне, меня и еще трех коммунистов из сформированного к отправке батальона, приказом комиссара бригады направили в 52-ой стрелковый полк в Кострому. Причины такого экстренного перевода мне в течение более полугода были совершенно неизвестны, тем более, что в этом костромском полку я проработал только около трех месяцев. Потом меня снова вызвали в Москву на должность начальника школьно-лекционной секции побрига (политотдел бригады). Оттуда я получил вначале назначение на должность зам. комиссара 5-го стрелкового полка, а после откомандирования комиссара Завильского, стал исполнять обязанности комиссара этого полка. Вот только в эту пору работник ЧК по полку и сообщил мне, что перед отправкой батальона на борьбу с Антоновым ЧК выявила в батальоне группу предателей из числа красноармейцев, которые решили в первый же день прибытия батальона на Тамбовщину расправиться с наиболее яростными коммунистами, чтобы потом весь батальон увести к Антонову. В числе коммунистов, подлежащих уничтожению, значилась и моя фамилия. Это и заставило командование бригады перевести меня на некоторое время в Кострому.

Итак, я исполняю обязанности комиссара 5-го стрелкового полка. В полку около десяти тысяч человек и ни одна сотня командиров, в прошлом офицеров царской армии. Командиром полка был полковник царской армии Виноградов. Опытном организационно-партийной работы я не обладал, да и жизненным опытом – тоже. Сейчас я уверен, что на этой должности я был игрушкой в руках опытных командиров и интендантов, прожженных дельцов, пригrevшихся в полку. Безусловно, что на этой должности я оказался только потому, что уж очень малочисленной была прослойка коммунистов в бригаде, а я из этого малого числа оказался наиболее речистым и несколько более грамотным, чем многие мои товарищи. При вступлении в должность мне никто ничего не сказал, мой предшественник Завильский передал мне печать «своего» полка, свой кабинет, своего секретаря, и – был таков.

И вот я сижу в своем кабинете рядом с кабинетом командира полка, адъютант полка приносит мне на подпись приказы по полку, обычно уже подписанные командиром, и все уже оформленные документы, на которых должна быть поставлена моя подпись и, где нужно, полковая печать. Вообще-то говоря, буквально ничто не могло произойти в полку без моего участия и санкции. Но так как я мало разбирался в делах такой махины как запасной полк, то было не исключено, что под носом у меня кое-кто обделывал свои делишки.

Моя работа заключалась в том, что я, время от времени, собирал политруков рот, требовал бороться с дезертирством, воровством в казармах, отвечать на письма родственников красноармейцев о якобы чинимых на местах незаконных местных советскими органами. Для борьбы с воровством, а из казарм тащили все от соли и хлеба, до сапог и шинелей, я выставлял временные посты, состоящие полностью из коммунистов полка. Поначалу я в одиночку обходил казармы, так как знал, что там в это время устраиваются игры в очко. Карты я отбирал и уничтожал, оставляя нетронутыми поставленные «на кон» деньги.

Когда закончилась гражданская война, страна смогла приступить к частичной демобилизации красноармейцев старших годов призыва, то есть тех, кто был призван еще до или в империалистическую войну. Приказ о демобилизации не касался коммунистов. Представьте, каково было самочувствие этих товарищей: они «гнили» в окопах мировой войны, сражались на фронтах в гражданскую войну, в Красной Армии они вступили в партию. Все эти годы они ждали дня и часа, когда они смогут вернуться домой, и вот тебе! Все едут, а ты как коммунист должен невесту сколько тянуть лямку службы.

Сколько раз мне как комиссару пришлось выслушивать наболевший вопрос: «До каких же пор мне служить?». Многих удавалось уговорить. А некоторых уговорить не удавалось. «Вот тебе комиссар мой партбилет, я теперь беспартийный, а значит, ты не имеешь права меня задерживать». Несколько партбилетов так и было оставлено у меня на столе. Партбилеты я сдавал в райком, и после некоторой проволочки красноармейца приходилось демобилизовать, сообщая его фамилию в органы ЧК по месту жительства.

В 1921 году я был избран как комиссар полка в Московский совет рабочих и красноармейских депутатов. Сейчас, по истечении многих лет, можно не таясь рассказать, как мне и другим коммунистам полка приходилось участвовать в выборах депутатов в советы по 1-2 раза дополнительно. Выборы тогда проводились, как правило, на фабриках и заводах. В том случае, когда тот или иной завод не имел необходимого числа людей для избрания депутата, а добавлять к рабочей среде обывателей было опасно, так как в совет могли проникнуть люди нежелательные и для совета и для партии, тогда к этому заводу или фабрике прикрепляли какую-нибудь воинскую часть для совместного выбора депутата. Обычно на такие избирательные собрания, а голосование проводилось открыто, приходили коммунисты полка под названием какого-нибудь воинского подразделения. Таким образом, избрание «нужного» депутата было обеспечено. Несмотря на это депутатами Моссовета избиралось до 50% беспартийных товарищей и даже эсеров и меньшевиков.

Я отлично помню, что на сессиях Моссовета иногда выступали лица, открыто заявляющие, что они являются представителями партийной фракции в совете меньшевиков или эсеров, конечно, эти фракции были малочисленны (от пяти до десяти человек), но тем не менее при численно большом количестве беспартийных депутатов эти фракции доставляли коммунистам Моссовета немало хлопот. Проникновение «враждебных» элементов происходило довольно просто – под личиной беспартийных. Получив же депутатский мандат, то есть право неприкосновенности личности как депутата, они образовывали в совете фракции. На одном заседании фракции коммунистов Моссовета я принимал участие в обсуждении запроса фракции эсеров о том, что, якобы, членов их партии, находящихся в заключении, при переводе из *Бутырок* в другую тюрьму, избил работница ЧК. По этому вопросу на нашей (коммунистов) фракции выступал Рязанов, по сообщению которого и было принято решение – «запрос» эсеров отвергнуть.

Вскоре 5-ый запасной стрелковый полк, где я «комиссарил», подлежал расформированию и я, оставив в ликвидационной комиссии в качестве представителя партии Розанова, моего секретаря, перешел на работу в учебно-образцовый полк МВО в качестве заместителя комиссара полка. Комиссаром был не то Михайлов, не то Михайлин. Полк летом размещался в лагерях на Ходынке, но я уже жил не в палатке, а в отдельном домике с прихожей, кухней и комнатой. Домик стоял на отшибе. Пищу я себе не готовил, а питался из общего котла. В комнате у меня была койка, две табуретки и безусловно стол, накрытый простыней из вешевой каптерки.

Работой комиссар меня не обременял, и я все время отдавал чтению книг, отвлекаясь иногда стрельбой из нагана по мишеням, которые я развесил по бревенчатым стенам комнаты – избы, так как патронов мне выдавали, сколько потребую. Стрелять я научился довольно прилично, попадая из нагана в папиросную коробку с расстояния в пятнадцать метров.

Полк был учебно-образцовый и при нем был даже театр и группа артистов.

К нам в полк под предлогом проверок частенько приезжал замкомбриг, некто Овчинников, в основном он приезжал, чтобы *подхарчиться* в полку. К его приходу начхоз полка готовил две буханки хлеба, четыре штуки селедок, фунт-два сахару и бутылку постного масла. В один из таких приездов он предложил мне перевестись в Вологду, куда его перевели комиссаром бригады. Особой привязанности к Москве я не испытывал и дал согласие на перевод в Вологду, поближе к местам, где жили отец и мать с сестренками.

Надеясь перевестись в Вологду в политотдел 4-ой отдельной стрелковой бригады, которой командовал в то время Софронов, я дал свое согласие, но пока оформлялся мой перевод, эта бригада передислоцировалась в Архангельск. Выехав из Москвы поздней осенью, я очутился в заснеженном Архангельске. Северная Двина встала и, чтобы меня встретить, были присланы нарты с оленьей упряжкой. Это был первый и последний раз, когда я пользовался «рогатым» транспортом.

Был я назначен заведующим бригадной партшколы. На постой меня поместили на квартиру вместе с моим заместителем по хозяйственной части. Одноэтажный домик с чистенькими комнатами принадлежал какому-то интеллигенту, которого когда-то в царские времена сослали в Архангельск, то ли за меньшевистскую, то ли за эсеровскую деятельность. Он с нами «сосунками» общаться не хотел, сидел в своей комнате, обложившись книгами, или вел с кем-то и где-то уроки. С нами общалась его жена, заинтересованная в каких-то льготах или в помощи со стороны партии. Она снабдила нас посудой, постельными принадлежностями и прочим необходимым в оседлой жизни. Я впервые оказался в таком «стерильном» мире, по моим «глубоким убеждениям» того времени, явно «буржуазном». Окружавшая меня мебель, посуда и предметы домашнего уюта казались мне слишком роскошными и буржуазно-излишними.

В памяти о тех днях остались: начальник политотдела бригады - Шевяков, привезший меня в Архангельск комиссар бригады – Овчинников, начальник агитационно-пропагандистского отдела – Листков, инструктор *побриса* и одновременно преподаватель бригадной политшколы – Артамонов. Было еще одно важное лицо, фамилию которого я не помню, но оно совмещало обязанности начальника организационно-инструкторского отдела с изготовлением и реализацией на рынке зажигалок. Зажигалки играли в его жизни значительную роль и как-то влияли на нашу жизнь - они давали возможность достать съестного. Постоянно хотелось есть, паек, получаемый нами, мог как-то скрасить, но не устранить чувство голода. Нам полагалось полфунта черного, выпеченного с овсяными отрубями, хлеба, одна селедка, заменяемая по северному пайку полфунтом соленой трески – это на день, и полфунта сахару – на месяц. Такой же паек получали и курсанты-слушатели партшколы, которой я заведовал. Курсантов было всего двадцать пять человек, питание их было таким же, как у всех в Архангельском гарнизоне, но с одним отличием, суп им подавали не в котелках, как обычно, а в фаянсовых тарелках. Вот эти то та-

релки и не давали спокойно существовать курсантам, да и мне в том числе, из-за постоянных насмешек красноармейцев и командиров бригады. Тарелки, как видно, были когда-то конфискованы у буржуазии и выпрошены для курсантов в каком-то распределительном органе моим начхозом Мейеровым. Не имея возможности избежать ехидных насмешек, я эти тарелки, как шкодившего kota завозят куда-нибудь подальше, завез к отцу в Фоминское. Совесть моя чиста до сих пор и перед собой и перед курсантами, спокойно вздохнувшими, отказавшись от «глетворного влияния пережитка прошлого».

Работа в партшколе проводилась по неписаной программе текущей обстановки. Я излагал курсантам азы из «Азбуки коммунизма» Бухарина. Артамонов и его жена, успевшие как-то закончить Свердловку, проводили занятия на темы полит-экономики.

Отношения между командирами были какими-то патриархальными, а возможно, и просто человеческими, в широком смысле слова. Придешь, бывало, к побригу Шевякову, который с моей точки зрения был наиболее грамотным, авторитетным и выдержанным командиром, и просишь разрешения на выезд дня на три-четыре к родителям в деревню. «Ну что ж, съезди, подкормись маленько, харч то у нас такой, что лучше не надо... Авось съездишь и работа лучше пойдет, повеселее». Сядешь в поезд и, пользуясь тем, что охрана железной дороги велась отделами нашей же бригады, вроде бы при деле в своей части, едешь к родне. Едешь обратно, прихватив в деревне картошку, и уже не так страдаешь от голода. Вот так и жили. Нам, северянам все же было легче, чем азиатам. Дело в том, что эту бригаду перевели в Вологду, а потом в Архангельск из Средней Азии, где она вела борьбу с басмачеством. Среди состава темами неслужебных разговоров были темы борьбы с басмачами и бытовые темы среднеазиатской жизни.

Жизнь в Архангельске запомнилась еще и тем, что в те годы нам приходилось много спорить «ни о чем, и обо всем». Я был горячий спорщик по любому случаю, вроде: «Что появилось раньше мысль или слово?», «Роль личности в истории», «Что такое коммунизм и социализм?». В спорах было много «ереси» и даже глупости, но они шли от самого сердца. Мы, не стесняясь, говорили обо всем и вся без оглядки, не боясь, что тебе приклеят ярлык оппортуниста или оппозиционера, или того, что твои суждения могут отразиться на твоём положении в партии или на службе. Мы все себя считали равными, и ни перед каким начальством не заискивали.

О! Как мы в то время по сравнению с тридцатыми годами и даже с сегодняшними были «святы и невинны». На групповом фотоснимке того времени, кто-то из моих дружков написал «Большому спорщику, но малому теоретику» и «Не унывай маленький Бухарин, в спорах рождаются крепкие убеждения». Из-за упоминания Бухарина я попросил мать, у которой хранилась эта фотография, сжечь ее в 1939 году.

Архангельск памятен мне еще и потому, что именно там я начал приобщаться к театральной культуре. Я стал посещать настоящий профессиональ-

ный театр, размещавшийся в здании бывшего «Благородного собрания». В Зеркальном зале этого театра мы без стеснения зимой ходили в рваных, подшитых и истоптанных валенках.

В 1921 году я, как и все члены партии в Архангельске, прошел чистку рядов партии. Чистка проходила так: все коммунисты собирались на партсобрание, президиум которого и определял, кого следует оставить в партии, а кого изгнать. Председатель комиссии (председатель собрания) назначался вышестоящей парторганизацией, прибывшей из другой, Московской парторганизации. Еще два члена комиссии (в президиум) избирались на самом собрании. В число этих двух избираемых, в нашем случае, был избран я. Тот товарищ, который «подвергался чистке», а подвергались этой процедуре все по очереди, на время выходил из комнаты и все, кто желал, имели право высказаться о нем и дать ему «отвод». Я выходил из комнаты не более чем на три минуты, так как никто «отвода» мне не дал и ничего порочащего меня не сказал.

Весной 1922 года бригада была расформирована, и я получил направление в Ярославль в 18-ую дивизию, куда я прибыл с запозданием из-за отпуска и болезни. С этого времени и вплоть до осени 1928 года я проработал в Ярославле политработником в частях и в политотделе дивизии. Первая моя должность в этой стрелковой дивизии была – заместитель начальника военных-политических курсов дивизии по учебной части. Это было продолжением моей работы в Архангельске. Не могу понять назначение этих курсов. Политруков они готовить не могли, так как в составе их учеников членов партии почти не было. Были сочувствующие, немного комсомольцев, но большинство было беспартийных. Беспартийные шли, как видно, с целью «не тянуть лямку» в строю, а хоть чему-нибудь научиться и поднять свою грамотность. Требование к обучаемым было только одно – желание учиться и хотя бы получить относительную грамотность в пределах трех-четырёх классов. Нужно полагать, что целью этих курсов было все же стремление увеличить число желающих вступить в партию и тем увеличить партийную прослойку коммунистов на деревне, после того, как они демобилизуются.

Руководство курсов включало: начальника, им был Сладков, меня – зам.начальника, начхоза и одного или двух писарей. Преподавателей в штате не было, этим занимались привлекаемые работники политотдела дивизии и учителя средних школ Ярославля. Кроме общеполитических дисциплин были и общеобразовательные. Мне много приходилось работать с учителями школ, чтобы «политизировать» преподаваемые ими дисциплины – русский язык, математику и ботанику. Отсутствие в штате строевых командиров отрицательно сказывалось на дисциплине и на внутреннем распорядке на курсах. Начальник курсов был горький пьяница и я, хотя потерял один кубарь на руке, фактически руководил курсами по учебной и по административной части. Будучи зам.комиссара полка, я в свое время носил высшие командирские отличия, четыре кубаря. Носились они вначале расположенные горизонтально

над обшлагом правого рукава, а потом на том же рукаве, но на специальном погончике вертикально. С переменной места работы я лишился одного кубаря.

Мне было двадцать один год и в силу всей моей жизни мне казалось, что я уже «большая птица», и встретив совершенно неожиданно в числе курсантов друга детства Шурку Малышева, я вызвал его к себе и сказал, чтобы он о наших взаимоотношениях раньше никому ничего не говорил. Это было бы «неловким» в наших нынешних отношениях, тем более что сам Шурка службой был отягощен и как можно быстрее хотел от нее избавиться.

Ярославль 1922 – 1928: Ирина и Надинка

Политработником я стал в ту пору, когда гражданская война приближалась к концу, и когда с анархистскими и партизанскими настроениями в армии было покончено. Но было покончено только в основном. Пережитки самостийности (что хочу, то и ворочу) были еще очень и очень сильны. В стране насчитывалось сотни тысяч дезертиров укрывавшихся в лесах и глухоманях, организовавшихся в различные банды. В Красной Армии находились миллионы людей, и сотни тысяч из них честно тянули лямку с 1914 года. Они с великим нетерпением ждали момент возвращения домой к семьям. А если прибавить сюда неустроенность быта красноармейца: трехэтажные нары, полуголодный, а кое-где и голодный паек, письма из дома о вконец расстроеном хозяйстве, все это говорит насколько тяжела была в то время служба вообще и политработника в частности. Строевой командный состав, в основном беспартийный в запасных полках, «знал одно» - обучить красноармейцев строю, обращению с винтовкой, пулеметом и стрельбе. Кстати, выполнение стрельб было самым трудным делом, так как была острая нехватка патронов. Только приказами и дисциплинарными взысканиями ничего нельзя было сделать. Народ был своенравный и тертый, «видавший виды» и знавший, как расправлялись совсем недавно с так называемыми «шкурами» из младших командиров и с «золотопогонниками». Вот здесь политработники и помогали партии содержать, строить и обеспечивать боеспособность армии. Нужно было доказывать, что без дисциплины не будет армии, так же, как если красноармеец не будет знать винтовку и не будет знать, в кого и с какой целью он должен из нее стрелять. Нужно было как-то исхитриться и заставить полуголодного красноармейца, полуграмотного, а то и совсем неграмотного, получающего из дому письма с сообщениями о полном разорении его хозяйства, служить в Красной Армии, подчиняться приказам и учиться осточертевшему военному делу. Вот чем я занимался, будучи политруком и старшим политруком батальона, в первые месяцы моей службы, да и все последующие годы. Нужно было найти, во что бы то ни стало наиболее доходчивые слова и мысли, которые могли бы воздействовать на «зачерствевшие» сердца и души людей. Во что бы то ни стало

нужно было стать возможно ближе к красноармейцу и сделать так, чтобы его заботы были и твоими заботами, ни на йоту в то же время не отходя от классовых позиций партии по созданию сильной и дисциплинированной армии.

Не счесть, сколько мне в то время пришлось перечитать красноармейских писем с жалобами на тяготы жизни их семей, и не счесть тех запросов, которые пришлось посылать в местные советские органы, по этим письмам. Политруки в то время жили в одной казарме с красноармейцами, ели из одного котла, посещали одни занятия и получали одинаковое обмундирование. А я еще и успевал учиться.

И вот я решил, что могу оказаться «благодетелем» в отношении к Шурке, с которым я был когда-то на «равной ноге», играл в казаки-разбойники и в лапту. Здесь заиграло честолюбие. Ведь как радостно и приятно в глазах своего друга по детству оказаться «власть имущим», тем более, что об этом будут знать его родители (Кириян и Марья Малышевы), у которых, будучи ребенком, я по день-два был в гостях в Новой Деревне в Петрограде, и в Новинке, где сейчас жила моя мама с сестренками. Радовало меня и то, что о моем «величии» будут знать в деревне.

Просто так я отпустить Шурку не мог. Тогда я выписал ему два отпускных билета, каждый на месяц. Никому об этом не говоря на курсах, Шурка потихоньку уехал на родину. Запросов в местную комиссию ЧК по борьбе с дезертирством я, конечно, не послал. Так Шурка с моей помощью самодемобилизовался. Шурка затем уехал в Ленинград к своему брату Кольке. Больше я их не видел. В Отечественную войну они, выполняя свой воинский долг, погибли.

Много в те годы прошло мимо меня людей, некоторые остались в памяти навсегда, некоторые туманно всплывают, а некоторые вообще стерлись, знаю, что такие были, а кто - не помню. Памятны командиры дивизий Федько и Фесенко, бывший тогда начальник полковой школы, а позже комбат 52-го полка П.И. Батов, герой и генерал-полковник, бывший зам. командира полка В.И.Виноградов, ставший в конце войны зам. начальником тыла Советской армии. Двое последних в то время еще не были членами партии. О партийности их я знаю, потому что в эти годы я был уже *оторгом* 52-го полка, то есть секретарем парторганизации полка и ответственным в полку за политпросвет работу. С Федько я близко знаком не был, но как парторг знал его неплохо. Надо сказать, что мы в один и тот же день прощались со своей парторганизацией. На собрании нас обоих «покачали» на руках, ему как совсем уходящему из дивизии на должность командующего военным округом вручили золотые часы, а мне, остающемуся в дивизии, «Марксистскую хрестоматию» с надписью - «Активному члену партколлектива полка». Этот подарок долго хранился у меня вплоть до 1932 года, когда мною и был уничтожен. Дело в том, что в этой хрестоматии, наряду со статьями Маркса, Энгельса и Ленина, были помещены статьи Троцкого, Бухарина, Зиновьева. Хранить хрестоматию к этому времени стало опасно, и я ее сжег полностью.

Служить же и работать приходилось в основном с рядовыми работниками политотдела дивизии, такими как: Рабинович, Курочкин, Кокурин, Пучков, Пулькин, Молотов, Муромцев, Татаренко, Пупышев, Ровчешский, Хадеев, Теплых, Груздков и др.

Итак, Ярославль. Никольские казармы, где меня разместили вместе с секретарем комиссара Груздковым в одной большой, но не отапливаемой каптерке. Питались мы кое-как. Одевались с утра и так ходили целый день в шинелях. По вечерам жутко было укладываться в постель. Холодно, на стенах иней. Лечь в обмундировании спать нельзя – замерзнешь. Оказывается снятая и накинутая сверху одежда больше греет, чем просто одетая. Раздеваешься, залезаешь под одеяло, накинешь на себя все, что снял, и только тогда немного согреешься и уснешь. Жутко было по утрам подниматься, но в движении уже было нипочем. Менее образованным в политическом и общем образовании я себя не чувствовал, хотя в полит отдел дивизии (подив) 18 начали прибывать коммунисты, закончившие, хоть и ускоренный, но курс Свердловки и Зиновьевки.

Из них больше всего запомнился Курочкин, всегда иронически улыбающийся, смешливый, «себе на уме». Он, пожалуй, был наиболее подготовленным. Он имел всегда свое особое мнение о всем происходящем, был бескорыстен, честен и свысока относился ко всем вышестоящим в партийно-политической иерархии коммунистам.

Помню Пулькина особенно тем, что он часто цитировал некую заумную и, пожалуй, невразумительную, выдержку из чего-то, как мне казалось большого, которая ставила меня в тупик:

«Жизнь, - шепчет он, остановясь
Средь зеленеющих могил,
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок»

Что такое метафизика, я знал, а вот что такое «трансцендентальные предпосылки» представить себе не мог. Но Пулькин скоро куда-то исчез, оставив в памяти моей только эти «трансцендентальные предпосылки».

Дивизионные политкурсы прекратили свое существование, и меня, так как в административном отношении я был более, чем нуль, перевели оторгом 52 полка.

Как-то, почувствовав себя плохо, я дня три не мог подняться с постели, а товарищи, привыкшие к моей подвижности, решили, что у меня какая-нибудь плевая хвороба, врача пригласили только тогда, когда у меня начался бред. Диагноз - сыпной тиф, с которым меня отправили в Ярославский военный госпиталь. Из трехнедельного пребывания мне запомнился лишь первый день. В госпитале даже того времени существовало правило прибывших мыть в ванне. Принявший меня в обмылку санитар притащил откуда-то два конусообразных сосуда с теплой водой, залил их в ванну, ополоснул в ней доставленного чуть раньше меня тоже *тифозника* и предложил мне самому забрать-

ся в ванну и помыться пока он оформит куда-то больного. В такой воде я мыться отказался. «Ну и черт с тобой - сказал санитар , - бери белье и иди в палату». Больше я ничего не помнил...

Когда очнулся, увидел милостивое лицо сестры: «Бредил же ты, Коновалов, все время какими-то потусторонними вещами, о каких-то светлых девушках, но не матерился, а это странно. Ты что, совсем не ругаешься? Дня через три-четыре на выписку тебе».

После выписки, осунувшийся и еле держащийся на ногах, я прибrel в кабинет комиссара полка, ведь я уже был *оторгом* полка. Комиссар ускорил выписку продовольствия и проездных документов, а я, получив хлеба на пятнадцать дней, почти целую буханку, приказал отвезти меня на вокзал станции Всполье. Полученный каравай мне показался слишком тяжелым, и я избавился от него, загнав в каком-то ларьке. Налегке сразу же сел в один из проходивших товарных поездов и довольно быстро добрался до Вологды. А вот в Вологде сесть в поезд на Ленинград, чтобы добраться до Чебсары, оказалось нелегко. Самостоятельно влезть в теплушку я не имел сил, а подать мне руку и помочь никто не хотел. Мой вид яснее ясного говорил, что я тифозный. Только на двенадцатой или пятнадцатой попытке попасть в вагон какая-то интеллигентного вида старушка уговорила двух мужиков помочь мне, но, когда я хотел поблагодарить ее, сказала: «Прошу извинить меня, но Вы рядом со мной не садитесь, я ведь знаю, как сейчас лечат». Вылез на Чебсаре, отдохнув в чайной Ивана Прохорова, в которой останавливались вместе с отцом, напился чаю с сахарином. На попутных, частично и пешком, еле-еле добрался до дома отца в Фоминском. Но отца дома нет. Мне объяснили, что отец где-то в лесу гонит самогон к Кирикину дню.

Пивоварением в деревне занимались с давних времен, а вот самогон гнать стали недавно и только для личного потребления. Именно в эту пору, летом 1922 года, я в первый и последний раз попробовал самогон. От самогонки у меня в памяти, кроме боли в голове, мутного запаха и вкуса ничего не осталось.

Мое месячное пребывание у отца в Фоминском и у матери в Новинках силами возвратного тифа превратилось в двухмесячное. Кое-как оправившись, я перебрался в Пошехонье, где мой дружок Дима Потехин уже заведовал агитпропотделом Пошехоно-Володарского укома. Дима привлек меня к занятиям с допризывниками по политграмоте и даже к приему экзаменов по винтовке.

Время отпуска истекло и снова я в полку. Много новых лиц, среди них новый комиссар полка Балтгалов. Личность комиссара примечательна и малость подозрительна. Он уже в то время имел орден Боевого Красного Знамени и привез в полк свою жену и приемную дочь. Жена была малограмотна, недалека и неприятна. О том, где и за что он получил орден, он никогда и никому не рассказывал, так же, как и о том, где и как он заполучил свою жену. Он в Ярославле был честен, не пьянствовал. В политическом отношении был недалек и был ярким врагом табака и курильщиков. Я не знаю, каковы были его служеб-

ные отношения с окружающими, но, что касается партийно-политической работы, то он передоверил ее всю мне. Я сам мог в любое время собирать и инструктировать политруков, проводить заседания партбюро полка, вызывать коммунистов и наставлять их «на путь истинный», если они в чем провинились. В те времена была широкая «демократия». Выборы президиумов собраний, как партийных, так и полковых, производились выкриками с места. Моя кандидатура выкрикивалась чаще и голосов собирала больше, чем кандидатура замкомандира полка Виноградова В.И. Оригинально, что политотдел дивизии не давал даже рекомендаций, какие вопросы и как обсуждать на партийных собраниях и собраниях комсостава.

Обосновался я и с жильем. Комиссар полка поселил меня в проходной комнате у своего заместителя Муромцева. За мной была закреплена, оказывается положенная мне по штату, верховая лошадь, за которой ухаживал конюх комиссара, старик лет шестидесяти.

Все, вроде, устроилось хорошо, но была и ложка дегтя.

Когда я в первый раз собрал политруков полка на инструктаж и заявил, что только они должны будут составлять костяк парторганизации полка, и что только с их помощью я, как оторг полка смогу работать, я вдруг услышал голос: «Довольно болтать, тоже тебе повилось новое начальство», - это был голос политрука Кокурина, выполнявшего обязанности оторга во время моей болезни. Я был более дипломатичен, чем он, и не стал задирать его сразу же. Вскоре Кокурин был переведен в другой полк. Несколько позже (году в 1926), когда мы с ним были инструкторами подива, он сказал мне: «Велик твой бог, что меня отозвали, а то досталось бы тебе немало».

У Кокурина в полку была какая-то своя группа, способная напакостить мне по всем линиям - по партийной, по политической, да и просто вплоть до физической, кулачной расправы. Он был выдвиженцем из местных ярославских работников и имел какие-то связи, достаточные, чтобы в 1927 году его изъяли из Красной Армии и назначили директором знаменитого Волковского театра. К театральному искусству он никакого отношения не имел, но партии нужно было обеспечить свое влияние во всех сферах жизни, поэтому неудивительно, что коммунистов назначали на работу, не считаясь с профессиональными знаниями. Был бы коммунист, а остальное приложится.

В Красной Армии партия боролась за наведение дисциплины и порядка в отношении всех и всяких умонастроений, основанных на старых традиционных, живших из поколения в поколение положениях. Эти положения нужно было расшатать, изжить и на их месте поставить новые ценности, новые положения, привить новые привычки, вдохнуть новый дух, рожденный Октябрем. Не обходилось в то время и без перегибов, в то же время совершенно оправданных. Не Фет, не Лермонтов, даже не Пушкин, а Демьян Бедный был образцом поэта. Есенин, Блок, Маяковский - были поэтами интеллигенции и воспринимались они эстетам, которых среди красноармейцев были единицы. Всевозможные социальные группировки и группочки пытались распростра-

нить свое влияние на красноармейцев, в основной массе крестьян, используя утвердившиеся веками представления в головах неграмотного, богобоязненного крестьянина. В те годы, чего греха таить, были известны многочисленные восстания батальонов и полков Красной Армии, сагитированных или спровоцированных белогвардейцами, эсерами, анархистами и меньшевиками. Все они пытались повлиять на души красноармейцев и усилить свое пошатнувшееся положение.

Вот почему отрицание прошлого было основой основ содержания работы коммунистов тех времен. Это прошлое нужно было не только осмеять, но и привить к нему ненависть, ненависть классовую, ненависть большевика. Очень нелегкая это была работа! Говоришь с людьми о пролетарской революции, о необходимости крепить мощь Красной Армии, о мировой революции и о задачах пролетариата, и видишь в глазах многих не только неприязнь, а ненависть. Ведь для многих понятие коммунист было синонимом «исчадия ада», который мешал с грязью и отрицал все, что было дорого их сердцу, их привычкам и традициям. Крестьяне обычно замыкались, используя старый крестьянский прием - «мели Емеля, твоя неделя...», хуже было с рабочими.

Однажды в одну из рот была призвана на территориальный сбор группа рабочих с ярославского моторного завода. Дивизия к тому времени стала территориальной. Эта группа на политзанятиях взяла в оборот политрука. Он им слово, а они ему - два: «Вы, мол, все силой...». «Где свобода, за которую мы боролись...» «Где проповедуемое вами равенство...?!» и прочее.

Политрук взмолился, - «Приходите, сладу нет с просочившимися в ряды эсеро-меньшевистскими настроениями. Пришлось мне, как секретарю парторганизации в один из вечеров вступить в спор с этой группой. Я под градом сыпавшихся с их стороны вопросов и реплик прямо-таки «извивался ужом», чтобы должным образом отпарировать их едкие нападки на партию и Советское правительство. Да, это были люди грамотные, не из деревень, и, главное, смелые в своих высказываниях. Я мог бы обозвать их всех *контриками* и уйти из роты, сообщить об умонастроениях кое-кого из них в ЧК. Но как комиссар и оторг полка не считал возможным для себя «повернуть» так дело. В своих нападках на партию они ссылались на ряд неурядиц, происходивших на их заводе. Помню, что, отвечая им, я говорил, что разве можно обобщать ваши одиночные непорядки, на одном вашем заводе, и, исходя из них, делать выводы, вредные для всей партии и всей советской власти. Не думаю, что я их убедил, но я подтвердил свою славу большого спорщика, могущего противопоставить и защитить линию партии от демагогических высказываний враждебных партии групп и отдельных лиц. Я был горд этим.

Итак, я жил в проходной комнате в квартире зам. комиссара полка Муромцева, коммуниста с 1917 года. Соперничество между мной и Муромцевым началось чуть ли не с первого дня. Работу, которую я выполнял один, теперь пришлось делить с новым человеком. Первая стычка произошла из-за его жены. Она вздумала выезжать на каток на полковой лошади, заставляя старика

конюха ожидать ее как своего личного кучера. Пришлось указать Муромцеву на недостойное поведение его жены. Я вызвал его на партбюро. Вторая стычка не замедлила случиться.

В те времена нас, командиров, да и, пожалуй, всю партию, занимал вопрос о том, как скоро может произойти мировая революция. Часто на партсобраниях рассматривали вопрос о состоянии и работе отдельных коммунистических парторганизаций капиталистических стран. Материалы мы могли получать только из выпускавшегося в то время «Ежегодника Коминтерна». И вот в один из дней партбюро поручило Муромцеву сделать сообщение о состоянии дел в коммунистической партии Югославии. Я, как всегда готовясь к партсобранию, занялся сам изучением материалов будущего доклада. О состоянии дел в компартии Югославии в «Ежегоднике Коминтерна» было написано буквально две строчки, зато о Чехословакии был помещен солидный материал на трех или четырех страницах. Муромцев, готовя доклад, видя, что о Югославии сказать нечего, решил, что, если он, говоря о Югославии, расскажет все, что он прочитал о Чехословакии, то этого никто не заметит. Где там разобраться, ведь оба государства в окончании имеют одно и то же звучание «ия». Тем более, что оба государства появились на карте Европе только что в результате мировой войны. Муромцев так и сделал, все о Чехословакии он отнес к Югославии, понадеявшись на неосведомленность коммунистов. Прослушав доклад на собрании, я выступил и в достаточно едких словах сказал, что все, сказанное докладчиком, относится к Чехословакии и, что докладчик произвел подмену государства, что вряд ли достойно для политического руководителя. Муромцев на собрании был «посрамлен», и наши отношения от этого стали далеко не лучшими.

В те времена партийная активность коммуниста в первую очередь определялась степенью активности его как агитатора и пропагандиста и способностью его бить врага в годы гражданской войны. Однако немалая часть коммунистов пыталась ленинскую линию партии (внутреннюю и внешнюю политику) направить в иное русло.

Первый вопрос, в известной мере потрясший партию, был вопрос о заключении с Германией, как говорил В.И. Ленин «похабного Брестского мира». По этому вопросу были мнения «да» и «нет», но появилась третья формулировка: - «Мир не заключать, войну не вести», дожидаясь пролетарской революции в Германии. Это была позиция Троцкого и его сторонников. Гением и настойчивостью Ленина мир был все-таки заключен. Страна и партия получили передышку для того, чтобы заняться хозяйственной и внутриполитической работой.

В партии в двадцатые годы было излишне много говорунов и прожектеров, готовых пуститься в любую дискуссию, лишь бы проявить свою сообразительность и способность «масштабно» и «по государственному» мыслить, именно поэтому в полку, где я работал оторгом, впрочем, как и во всех других парторганизациях, обострилась навязанная Троцким дискуссия о профсоюзах

и особенно о демократии в партии и о сущности НЭПа. Поднимался вопрос о дальнейшем развитии партийного строительства. Что греха таить - лозунг троцкистов о том, что в партии все дела должны вершат партийные массы, а не «аппаратчики» был для многих в те времена (я говорю о новых членах партии) привлекателен. Ведь «аппаратчик», то есть работник партийного аппарата, звучало как ругательство, несмотря на то, что в те годы руководящие работники партии, как мне кажется, были ближе к рабочим и крестьянским массам, чем теперь. Но тогда требования о демократизации партийного аппарата и дискуссии звучали все громче и громче.

Я был секретарем полковой парторганизации, и к моим предложениям и мыслям всегда прислушивались. Как ни странно, но во многих вопросах я был более политически грамотен, чем даже работники подива.

Подив 18 в те годы представляли - начальник Ступин и его помощник Носов. Они оказались между двух огней. С одной стороны, их непосредственное начальство, ПУР (начальником его был в то время, кажется, Антонов-Овсеенко) требовал поддержки троцкистской платформы, а с другой стороны, Ярославский губком (секретарем его, кажется, был Кабаков), прочно стоял на ленинских позициях, и, в свою очередь, нажимал на руководящих работников подива.

Когда в полку было назначено собрание для проведения дискуссии, а я в то время болел аппендицитом, ко мне пришли политруки Тарасенко, Путин и еще кто-то с просьбой провести это собрание и изложить на нем свою точку зрения. Вопрос для меня был нелегким. Нужно сказать, что я, с одной стороны, был не прочь поддержать тех, кто требовал демократизации аппарата партии, а, с другой стороны, я знал, что коллективный мозг партии - ее ЦК, а значит и Ленин, всегда стояли на строгих позициях основного принципа строения партии - демократического централизма. В последнем я убедился не столько из партийной печати, сколько из общения с когда-то бывшим в полку политруком Казаковым. Я вел с ним разговор еще в начале 1920-го года, и он, побывав когда-то в меньшевиках, многократно говорил мне, что в большевистской партии всегда была установлена незыблемость авторитета партии, его ЦК. «Если ты большевик, - говорил он мне, - ты не можешь сомневаться в авторитете ЦК». Вот учтя все это, я и выступил на собрании как «аппаратчик», а на половину как троцкист. Я говорил, что ЦК - коллективный мозг партии и тот, кто посягает на его авторитет, тот становится на антипартийный путь, но с другой стороны, все же хорошо было бы и органы партийного руководства в армии сделать более демократичными. Собрание не пришло ни к какому решению, хотя и продолжалось восемь часов. Вопрос был перенесен на партактив дивизии. Начальство подива на собраниях отмалчивалось по указанным мною причинам. Говорили товарищи из полков и кое-кто из инструкторов. На этом собрании я выступил с предложением, чтобы избираемый на партконференциях дивизии секретарь парткомиссии, в целях демократизации армейских политорганов, назначался и заместителем начальника соответствующего по-

литотдела. Начальство эта моя позиция в какой-то мере устраивала, и зам. подива Носов предложил мне ее сформулировать письменно. Не долго думая, я эту свою точку зрения изложил на бумаге и передал в президиум собрания. Но, по прошествии некоторого времени я понял, что я дал кому-то в руки документ, который в какой-то мере не соответствует официальной линии ЦК. Поэтому, когда был объявлен перерыв на перекур, я, подойдя к столу президиума, наспех сформулированную мною позицию в документе взял обратно, благо она лежала на столе среди других бумажек и записок в президиум. В результате дискуссии я оказался в какой-то мере чуть-чуть примкнувшим к оппозиции. Когда ЦК партии, получив повсеместную поддержку всей партии, приостановил на время дискуссию, то он начал перестановку работников, как в военном, так и в гражданском партийном аппарате. Я со своим предложением уже не выступал, не из-за того, что я боялся репрессий, их еще не было, да и жил я один, как перст, а просто потому, что я убедился в их никчемности и вздорности.

В то время я по партстажу был одним из старых коммунистов и мог бы рассчитывать на более «высокую» должность, на должность зам. комиссара или даже комиссара в полк к беспартийному командиру. Но после перестановки я вновь стал оторгом, но только уже 54-го полка в городе Шуя.

Прибыв в Шую, я с удивлением узнал, что комиссаром полка оказался тот самый Муромцев, с которым я воевал в Ярославле. Да, назначение было явно не из приятных. Итак, в 1924 году я фактически оказался не у дел. Меня избрали в состав бюро, но секретарем парторганизации по настоянию Муромцева я не стал. Секретарем был некто Мелехов, хотя я и получал положенное мне по назначению довольствие. Мое положение было двусмысленно, хотя наиболее ответственные выступления всегда поручались мне. Я начал писать в подив 18, начальником которого в то время был большая умница И.Ю. Рабинович. Именно Рабинович, чтобы уладить дело с Муромцевым и подкрепить меня, командировал в полк своего заместителя Носова. На одном из инструктажей, который я проводил с командным составом полка, он (Носов) счел возможным после моего выступления заявить, что я обладаю большим опытом работы и что мои указания находятся в полном соответствии с указаниями ПУРа, ПУАрма и подива.

В 54-ом полку я прослужил месяцев восемь и был отозван в Ярославль на должность инструктора партработы. В памяти осталось, что на Шуйской уездной партконференции, делегатом которой я был, меня избрали в состав ревизионной комиссии укома. А из всевозможных выступлений на митингах и собраниях запомнилось выступление в Шуйской тюрьме перед бандитами и уголовниками. Кому-то потребовалось ознакомить их с вопросами международного положения и с задачами мирового революционного движения.

В Ярославль я прибыл в конце 1924 года.

За время моей службы в Ярославле мне несколько раз поручали по красным числам (1 мая и 7 ноября) выступать с докладами перед рабочими быв-

шей Корзинкинской ткацкой фабрики, а ныне фабрики «Красный Перекоп». Собрания проходили в большом четырех ярусном клубе фабрики, построенном еще фабрикантом для рабочих. Фабрика была самым крупным предприятием в губернии и находилась под неусыпным вниманием ярославского губкома.

В 1922 году юношеская влюбленность и пылкость овладели мной еще раз. Предметом моей влюбленности была Ирина Некрасова - прямой потомок поэта. Отец ее жил в Карабихе и там же работал врачом, а она училась в школе в Ярославле. Было ей всего пятнадцать лет. Несмотря на свой возраст, она была более начитана, чем я, рассуждала очень трезво. Мне нравился ее открытый лоб, светлые глаза, одухотворенное лицо и какая-то наклоненная вперед походка. Мы встретились с ней у зав. агит. проп. отдела Ярославского губкома партии Розановой. Розанова любила молодежь и частенько у себя на квартире устраивала чаепития. Она для нас, в свои 50 лет, была старухой. Вот там я и встретил Ирину. После каждой встречи мы очень долго гуляли по знаменитому Ярославскому бульвару за Волковским театром, по набережным Волги и часами сидели где-нибудь на скамейке. Я, как и в девятнадцать лет, был счастлив, когда ее рука попадала в мою руку, не говоря уж о поцелуях, от которых я впадал в «беспамяństwo». Но я уехал в отпуск к отцу в Фоминское, а когда вернулся, мне сказали, что Ирина уехала к отцу в Карабиху, а потом еще куда-то.

Разлука с Ириной подействовала на меня более, чем отрезвляюще, и я превратился в мужчину, которого стал привлекать не только внутренний мир женщины, но, пожалуй, в большей мере плотское желание близости с ней. Именно с этих позиций я исходил в то время, когда искал себе спутницу жизни.

Свою первую жену Надинку, как я ее начал называть, хотя ее имя было Анастасия, я встретил на вечере самодеятельности полка. По установившейся тогда традиции любой вечер открывался политинформацией, которую проводил я. Во время выступления я заметил сидевшую рядом с падчерицей комиссара полка Балтгалова кареглазую с веселыми искорками в глазах девушку. Ее волосы, не заплетенные в косы, крупными волнами спадали на плечи. В полку, даже в клубе, я не позволял себе даже пройтись по залу или посидеть рядом с девушкой, но тут я не выдержал, уж больно весел был ее взгляд, и на лицо она была очень красива. Мы разговорились, и я проводил ее до дома. У нее был отец (старый кадровый котельщик), три сестры и брат. Матери уже не было, она умерла. Две старшие сестры учительствовали, а она училась на первом курсе пединститута. Жили они бедно, почти впроголодь, хотя в семье из шести человек трое работали. Заработки в то время были грошовыми, да и все, кто, мягко говоря, был не нэпманом, жил в «тесненных условиях». Я стал встречаться с ней в совпартшколе, где вечерами встречалась молодежь, а потом в Заволжье в лесу, где и стали мы, по сути дела, мужем и женой. Мне им-

понировал не только ее грудной красивый голос особой колоратуры и внешность, но и ее душевный склад. Когда к весне 1924 года я «оперился», то есть мне в полку отвели отдельную комнату, я встретил Надинку на Власьевской улице, поделился с ней своей радостью и спросил, не захочет ли она связать свою судьбу с моей. Никакого свадебного ритуала, конечно, не было, отец и сестры не сочли возможным прийти к нам. А беспокоиться о судьбе дочери, так как знали меня в Ярославле многие, они не стали.

С позиций сегодняшнего дня мы были в то время буквально нищими. У меня была шинель да хлопчатобумажные брюки, гимнастерка и сапоги, а у Надинки плохонькое пальтишко, два платьышка, да пара рубашек. В комнате у нас была койка, стол, накрытый «казенной» простыней, и две табуретки. Стены комнаты украшали два портрета: В.И.Ленина и почему-то нравившийся мне портрет Л.Н.Толстого, стоящего в русской рубахе с засунутыми за пояс руками.

Первые дни совместной жизни, заполненные моментами близости, оказались для меня и днями тревоги. Необычным было и постоянное присутствие всегда вместе со мной и во мне нового человека, с которым я еще духовно не сблизился, и который был, как мне казалось, чужд моим мыслям, действиям и поступкам. Это на первых порах тяготило меня, тем более, что я чувствовал ответственность за судьбу этого другого человека. В один из дней, полных тревог, я сказал ей: «Надинка, зачем мы женились с тобой, ведь мне кажется, что я не люблю тебя». Конечно, слезы у обоих. Надинка обратилась за помощью к соседке М.И. Миролобовой, та, имея большой опыт семейной жизни, кое-как успокоила ее, в заключение сказала: «ничего, кровать сблизит». И действительно так и получилось. Я, да, кажется, и она, в нашей совместной жизни были счастливы. Приехала из Новинки посмотреть на жену сына моя мать и ужаснулась. Она не могла сойтись характером с Надинкой, и, переругавшись, огорченная таким на ее взгляд невероятно безнравственным образом жизни ее сына, восвоися уехала обратно в деревню.

Слова Марии Ивановны оказались пророческими. Я любил жену так же, как, мне казалось, и она меня, полноценной, насыщенной уважением, большой дружбой и любовью. В те годы многие коммунисты считали, что, если он живет с женщиной, то это его жена, и поэтому вопрос о регистрации брака в загсе совсем не поднимался. И только в начале 1926 года, когда Надинка была на седьмом месяце беременности Володей, я, в ожидании получения на новорожденного весьма, впрочем, скудных благ, решил наши брачные отношения оформить. Оформление брачных отношений оказалось весьма оригинальным, так как, кроме нас с Надинкой, в загс пришли с женами два моих сослуживца по ПОДиву 18: Груздков и Теплых. Мы всей толпой ввалились в загс и попросили не перепутать документы и оформить наши брачные отношения. После регистрации мы все так же толпой пошли к фотографу. На этом наши совместные семейные торжества были закончены.

Где-то на стыке 1927 и 1928 годов совершенно случайно я стал корреспондентом «Красной Звезды», а затем и «Военного вестника». Правда, в последнем я поместил только одну статью, но эта статья, как видно, была высоко оценена ПУром РККА, так как она была рекомендована для руководства всем политработникам. А началось все с мелочей и без особой надежды, что в газете меня поймут, а не то, что напечатают. Мой почерк был бичом в моем детстве, и за все годы моей службы не исправился совершенно, может быть, поэтому я терпеть не мог писать какие-либо бумажки или указания. Для того, чтобы написать в газету, я использовал четкий почерк моей жены Надинки. Как-то раз я продиктовал ей одну небольшую заметку о партийной работе полковых парторганизаций. Написав, отправил письмо в редакцию и махнул рукой, забыл о писаном. И что же - дней через десять один из политруков, зашедших в ПОДив, как-то пренебрежительно заметил: «Вот в «Красной Звезде» даже наш Коновалов пишет». Я же номер этой газеты подробно не рассматривал и поэтому своей заметки не обнаружил. Быстро достав газету, я действительно в отделе партийной жизни заметил вторую в моей жизни напечатанную заметку, всего в двадцать строк. Дня через два я даже получил гонорар, рублей пять. Помещение моих соображений на страницах центральной армейской газеты, конечно, подхлестнуло меня, и я, используя в качестве письмоводителя свою жену, в течение двух лет напечатал в отделе «партийная жизнь» не менее двух десятков статей и заметок с подписью Коновалов - Ярославль. Одна из моих статей в «Красной Звезде» заняла целый подвал. Кое у кого из моих товарищей по работе мои писания возбудили нечто, вроде зависти. Начались придирки от закончивших курсы партийных университетов.

Говоря о моих товарищах того времени, следует сказать, что Ходеев и Соболев стали в последующем генералами, а некоторые оказались более, чем неудачниками. Курочкин, например, ко всем, и к партии в том числе, настроенный иронически, был из нее исключен, послан на строительные работы, и работал почему-то кровельщиком. У Молотова, красавца мужчины и любимца женщин тоже судьба не сложилась - он оказался репрессированным. Начальник подива Л.Б.Рабинович, впоследствии комиссар военно-инженерной академии, был репрессирован, осужден и исключен из партии, длительное время работал на лесозаготовках, в 1954 году, как мне сказали, он был реабилитирован, но вернуться в партию не захотел.

В Ярославле я встретил людей, всерьез читающих стихи. Там я впервые услышал о Есенине, Блоке, Брюсове, Уткине и других совершенно неизвестных мне в ту пору поэтах. Я стал завидовать более эрудированным товарищам, стал тянуться за ними, и «таинство» декламации с трудом постепенно стало раскрываться мне.

Особо примечательным и памятным для меня стал вечер, когда я попал в Волковский театр на выступление В.В.Маяковского. Того самого В.В. Маяковского, которого я не мог терпеть и ни одной строчки которого не мог прочесть.

Как сейчас помню его стройную, высокую и ладно скроенную фигуру, а главное - ту манеру, с которой он читал свои стихи. Я был поражен, более того, я был потрясен его стихами «О Советском паспорте», «Левый марш», «Происшествие с поэтом в поселке Пушкино», «Шесть монахинь» и др. Все, что он читал, было для меня абсолютно ново как по содержанию, так и по манере чтения. Было это, кажется, в 1926 году. С тех пор я полюбил Маяковского и все, что им создано. Одновременно я приохотился к чтению его стихов.

В Ярославле же я обратил внимание на новую трактовку и изображение новых, да и давно мне известных пьес.

Первую попытку включить в качестве действующих лиц в спектакле самих зрителей, присутствовавших в зале, я наблюдал еще в Архангельске. Ставился тогда «Недоросль» Фонвизина, а новшество заключалось в том, что в двух или трех случаях актеры, посаженные в зале, весьма примитивно пытались «включиться» в содержание сцены, разыгрываемой на подмостках. Мне запомнился один эпизод... На стене декорации был повешен какой-то портрет или картина, изображавшая какого-то лысого или бритого господина. И вдруг... из зала на сцену пробирается «некто» с большой банкой краски и кистью начинает на лице «картинного» господина пририсовывать усы и бороду. Это, по видимому, по замыслу режиссера должно было показать, что зритель в современном театре тоже должен быть действующим лицом, активно «вторгающимся» как в содержание пьесы, так и в ее постановочную часть. Но все, мною увиденное в Архангельске и Ярославле, блекло перед тем, что я видел у Мейерхольда в Москве.

Будучи избранным на окружную парт конференцию МВО (московского военного округа), я по рекомендации некоторых Ярославских интеллектуалов посетил два спектакля Мейерхольда: «Ревизор» и «Великодушный рогоносец». Как первым, так и вторым я был ошеломлен. Ревизор был не «Ревизор», равно как и «Великодушный рогоносец», а черт те что. Это было какое-то кощунственное сочетание театра и цирка. Содержание пьес буквально утонуло в каких-то акробатических трюках, разыгрываемых не то на гимнастических снарядах, не то на фоне сочетания различного цвета и форм плоскостей. Костюмы действующих лиц даже в «Ревизоре» были или чисто гимнастическими или позаимствованными чуть ли не из средневековых карнавалов. Текст Гоголя сохранялся и поэтому разобрать, кто и кого изображает еще было возможно, а вот содержание «Великодушного рогоносца» я так и не смог постичь.

Все, что мною выше сказано, не умаляет как таланта Мейерхольда - актера и режиссера дореволюционных лет, так и позднейших его постановок.

Ленинград: Студенческие годы. Сонюша

К 1928 году я почувствовал, что мне не хватает серьезных знаний. Как их получить я себе не представлял, понял одно – надо было учиться. А вот как это организовалось.

Весной 1928 года партией осуществлялся очередной прием на подготовительное отделение института «красной профессуры». Так громко в то время именовалась высшая партийная школа при ЦК партии. Кандидатуры утверждались губкомом. Я подал заявление, и моя кандидатура была утверждена. Причем, она стояла первой среди трех кандидатов. Предварительно в Ярославском губкоме я прошел специальную комиссию, в которой подвергался каким-то, «рыжим» по цвету волос (не помню его фамилию), работником губкома более или менее тщательному опросу. Список переслал в ЦК, а я в это время с женой и сыном поехал в отпуск к отцу в Фоминское. Дней через десять я получил письмо от Хадеева из Ярославля, проникнутое есенинским пессимизмом: «Все пройдет, как с белых яблонь дым», тебе отказано в приеме в профессуру, как и всем остальным. ЦК решил после «Шахтинского дела» в этот институт принимать только работников от станка. Я был огорчен тогда, но сейчас я даже рад этому. Где теперь все те, кто подвизался в институте в то время? Где Стецкий, Морецкий, Богушевский и прочие? След их остался только в старых номерах журнала «Большевик» за 1928 и следующие за ним годы. Статьи их, многословно заполнявшие страницы журнала, для меня в те годы, хоть и были мало понятны и абстрактны, привлекали меня самим фактом публикации на страницах такого партийного журнала как «Большевик». Все их писания ушли в макулатуру, а сами они в тридцатые годы «ушли в неизвестность». Пожалуй, и моя судьба была бы не лучшей.

Мысль об учебе меня все же не покинула, и мы, инструкторы подива, без особых трудов были приняты на вечернее отделение педагогического факультета Ярославского университета. Этот университет был пожарным образом организован и так же быстренько закрыт. И когда в августе 1928 года последовало решение ЦК партии о направлении на учебу в технические ВУЗы коммунистов в счет «партийной тысячи», я сразу же подал в губком заявление о посылке меня. Направление я добился, но с большим трудом, так как я был армейским коммунистом, «подвластным» управлению кадров ПУРа. Мне нужен был приказ о зачислении меня в список кандидатов от Красной Армии. И я с рекомендательным письмом выехал в Москву в политуправление республики, где встретился с Рабиновичем. Последний помог мне уволиться из РККА в запас. После некоторых проволочек я стал студентом «парттысячником» Ленинградского политехнического института.

На вопрос в приемной комиссии, на какой факультет я хотел бы поступить, я обескуражено ответил, что хотел бы работать где-нибудь на железной дороге. Электротехника, физика, механика и строительство были далеки от меня, но я вспомнил свои скитания по теплушкам и назвал железную дорогу. Такого факультета в институте не было, и меня определили на строительный. Мне было все равно. Я появился в приемной комиссии в военной форме с двумя шпалами в петлицах и этим вызвал удивление всех членов ее. Они заявили мне, что с военными они ни в коей мере не связаны и не могут мне ничем помочь, но я потребовал с них только бумажку о принятии меня студентом – вопрос о демобилизации я должен был решать сам. Документально мое увольнение из Красной Армии в долгосрочный отпуск несколько задержалось, и я явился на занятия только 15 сентября.

Большинство парттысячников как не имеющих законченного среднего образования были первоначально направлены в подготовительные группы, а я, имевший неосторожность написать в анкете, что был студентом вечернего факультета Ярославского университета, был направлен в основную группу студентов строительного факультета. На первой лекции, на которую я попал, по аналитической геометрии меня взяла оторопь. Слушаю Р.О.Кузьмина и ничего не понимаю. Вокруг меня мальчишки лет на десять моложе, вроде бы в чем-то разбираются. Обложился я книгами и с помощью великой моих новых друзей принялся «грызть гранит науки».

В институте тогда применялся бригадный метод обучения, суть его - в коллективном труде над учебным материалом. Составлялись пятерки студентов, и они должны были выдавать «на гора» учебный материал. Один за всех (мог сдавать экзамены), все за одного (тоже могли сдавать экзамены). И мы работали таким методом: я, Димка Бабушкин, Володька Карабанов, Пашка Никитин и несколько позже, Валька Каменский (ставший после Отечественной войны главным архитектором Ленинграда). Они вместо меня брали вершины строительного искусства, а я обеспечивал их тылы успехами по общественным наукам и партийно-политической активностью. Должен сказать, что и преподавательский состав ко мне как к парттысячнику и человеку уже давно переросшему студенческие годы относился более, чем снисходительно. Тот же самый профессор, так напугавший меня на первой лекции, Родион Осиевич Кузьмин, бывало вызовет меня к доске, поручит решение задачи, да сам ее, очень тактично, продиктовал весь ход решения, и решит.

Недели через четыре, мне как парттысячнику, Ленгорисполком выделил большую-большую комнату, метров тридцати на улице Желябова, и я смог выписать из Ярославля жену и сына Вовку.

Вскоре я был избран секретарем парторганизации факультета и членом парткома института. В годы перестройки системы высшего образования партийные организации ВУЗов играли решающую роль и я как коммунист и бывший политработник также окупился в эту работу. Сейчас можно сказать, слишком глубоко окупился, так как фактически инженером я не стал, а меня

«сделали» им. Единственно, в чем бы я мог преуспеть – так это в работе преподавателя. Я так и решил, и после многих перипетий так и случилось.

Летом 1930 года, когда строительный факультет политехнического института отделился и сформировался отдельный Ленинградский институт инженеров промышленного строительства (ЛИИПС), я проходил практику на строящемся в Ярославле в те годы шинном заводе. Я оказался фигурой, слишком влиятельной и тем самым неудобной для администрации вновь образованного института, что заставило руководство института искать какие-либо пути, чтобы избавиться от меня. И такой путь был найден – мне предложили снова вернуться в ряды Красной Армии в качестве слушателя военно-инженерной академии. Я этому воспротивился. В ответ институтская стенограмма указала на меня, как на человека уклоняющегося от службы в армии. Статья эта была написана тогда студентом Пашкой Клубиным, ставшим впоследствии профессором, доктором технических наук и полковником. Шито это было белыми нитками, и в этом быстро разобралась комиссия по отбору кандидатов в академию. Я был номенклатурой ЦК, и только он мог меня куда-нибудь переставить. На собрании студентов, переходивших в ЛИИПС, я выступил с нападками на руководство нового института, предложил соответствующую резолюцию, которая и была принята и лично мною переслана в ЦК. Месяцев через шесть результаты резолюции сказались – директор института Клинштейн был снят, а вместо него назначен коммунист с 1917 года Григорий Спиридонович Иванов. С прибытием нового директора отношение ко мне и ко всем студентам парттысячникам резко изменилось. Многих из нас он привлек к работе в аппарате института и в своей работе всегда опирался на нас. Студентом четвертого последнего курса я уже работал заведующим учебно-методическим сектором института. Будучи агитатором и пропагандистом, я считал, что основное в работе института – это обучение, а не научная работа, поэтому, готовя себя к преподаванию, то есть только к изложению материала, поставил вопрос об оставлении меня в институте в качестве аспиранта.

Итак, защитив диплом с отличием в составе бригады из Бабушкина, Никитина, Клаева, я стал аспирантом кафедры «Архитектура промышленных сооружений». В то время бальной системы оценок успеваемости не существовало, и я получил свидетельство, что мне присвоено звание инженера проектировщика промышленных сооружений и приложение, в котором было указан перечень прослушанных дисциплин.

Руководствуясь одной из формул Козьмы Пруткова: «Усердный в службе не может бояться незнания – всякое новое он прочтет», я стал работать под руководством профессора Гофмана В.Ю. Вконец «обнахлившись», я взялся вести курс строительной механики на вечернем отделении экономического факультета института и семинар по сопротивлению материалов в строительном техникуме. И тут и там студенты весьма одобрительно отзывались о проводимых мною занятиях, хотя ничего нового от себя я преподавать не мог. Просто я добросовестно и умело излагал материал учебников.

Признаки туберкулеза легких у моей жены по-видимому обнаруживались уже в Ярославле, а по приезде в Ленинград с его «гнилой» погодой ее болезнь еще больше обострилась. Пенициллина в то время еще не было, питание было, мягко говоря, неважным, и ей становилось час от часу тяжелей. На юг я ее отправить не мог. Вывез только в один из летних месяцев на дачу в Сиверскую, а затем отправил с Вовкой к отцу и сестрам в Ярославль. Кончилась жизнь моей Надинки печально. Когда я приехал к ней после трех месяцев разлуки, я не узнал ее. Были только кожа да кости. «Вот посмотри какой я стала, мне даже безразличен стал мой сын», - сказала она. Я смог пробыть в Ярославле только дней пять. Возвратился в Ленинград, а дня через три-четыре получил телеграмму о ее смерти. Денег у меня было в обрез, только на то, чтобы уплатить могильщикам, за гроб и цветы. У ее брата Василия были знакомые музыканты духового оркестра, он пригласил их помочь на похоронах. Ее похоронили с оркестром. Больше на ее могиле я не был.

Забрав сына, я приехал с ним в Ленинград.

Я не был убит горем. Ее болезнь и ее равнодушие ко мне в период болезни как-то отделили ее от меня.

Итак, я занимал теперь и исполнял несколько должностей, и за каждую из них я получал зарплату, плюс аспирантскую стипендию. Денег у меня хватало. У меня были товарищи Димка Бабушкин, Валька Каменский, Колька Потапов. Они действительно были хорошими товарищами, хотя и не забывали, что я стал весьма денежным человеком. Мои дружки были не прочь выпить и позабавиться с не особенно склонными к целомудрию женщинами и девушками. На какое-то время, я спознался с развратом. Раньше я был робок в общении с женщинами, хотя и не был абсолютно «целомудрен» и во время своей жизни с Надинкой, теперь же увидел, что они – женщины – могут быть более развращенными, чем я. То, что я узнал во время вдовства, далеко выходило за рамки моего тургеневского преклонения перед девушкой и женщиной вообще. Я увидел, как умело и скрытно от мужей идут некоторые из них на сближение с другим мужчиной, и как внешне целомудренные девушки, в опьянении и в желании «познать» мужчину, умело и ловко это скрывают и нагло могут врать, глядя в лицо своим подругам и родителям. Нужно сказать, что такого «наслаждения» больше перепадало моим более молодым дружкам, чем мне, невзрачному и уже познавшему семейную жизнь человеку.

Все же такой образ жизни мне внутренне претил. У меня был сын, я назвал его Владиленом. Я был не на словах, а на деле коммунистом и поэтому пришел к мысли о необходимости создать новую семью. Пока я был вдов, обязанности по уходу за сыном выполняла нянька Маревьяна. Она была рекомендована мне отцом, который хорошо ее знал, они были из одной с ним деревни - Фоминское. О ее заботах о моем сыне, о ее любви к нему и о ее бескорыстии – светлая память жива у меня до сих пор. Ей и мой сын обязан тем, что она вы-

ходила его, когда он заболел брюшным тифом и был буквально на грани смерти.

Свою новую жену, которую я до сих пор называю Сонюшей, я встретил в доме, где проживала ее сослуживица Тамара, состоявшая тогда в связи с моим дружкой Димкой Бабушкиным. Моя Сонюша оказалась мне если не писаной красавицей, какой была Тамара, то молодой, жизнерадостной, трудолюбивой, честной и чистой девушкой. Я видел, что она, будучи моложе меня на десять лет, не гнушается мной, вдовцом, имеющим уже сына. Я уже знал женщин, знал на что они способны, и когда в конце мая 1932 года она позволила мне, а ровно и себе, стать близкой мне, я понял, что ее отношение ко мне не является только плодом размышлений о необходимости найти себе мужа и помощника в содержании больной матери, но и плодом более высокого чувства. Я решил и примерно через полгода оформил наш брак с ней. Она стала мне женой, но главное - другом, товарищем, матерью моих детей, в том числе и ее пасынка Володи. Должен признаться, что я скоро подпал под ее влияние и всю свою жизнь в части быта и порядка в семье я вершил так, как она хотела. Я не испытывал к ней той юношеской любви, которая ушла от меня уже за несколько лет до этого, но всегда с самым искренним желанием старался по возможности скрасить ее жизнь. Для меня не было и нет более уважаемой женщины, чем моя Сонюша. Пусть она не была особенно начитанной, пусть ее красота не была такой броской, как у ряда встречавшихся со мной женщин, она мне всегда была дорога и ни с кем не сравнима.



1930 г. Делегация ЛИПС на районную парт. конференцию



1928 Павел Коновалов. Ярославль

Часть третья

Война и жизнь

Дальний восток 1934 - 1939

Дела с моей учебной между тем складывались скверно. Это понял директор института Иванов, зав.кафедрой Гофман, да и я сам тоже. У меня не хватало храбрости дать себе самому отставку из аспирантуры. Выход из создавшегося положения был найден Ивановым. Он и парторг института очень деликатно и с почетом проводили меня в Красную Армию, после того как ленинградским горвоенкоматом в институт была подана заявка на выделение главного инженера в сформировавшийся в то время инженерно-строительный батальон. В институте на собрании мне была вручена денежная премия, планшет, полевая сумка с ремнями и кобурой для нагана. Таким образом в конце 1933 года, то есть через пять лет, как был уволен из армии, я был вновь зачислен в командный состав Красной Армии с сохранением ранее имевшейся у меня воинской категории КП-8 – категории пом.командира полка.

Был конец декабря, когда я получил из горвоенкомата предписание явиться в Красное село для отбывания, якобы, трехмесячного сбора командиров запаса. Воинская часть, куда я прибыл, оказалась кавалерийским эскадроном. В эскадроне, а точнее в пустующей камере, у меня приняли документы и предложили посидеть в одной из комнат, в которой уже «отдыхали» в разных позах человек пять, таких же, как я призванных в армию товарищей.

Сидим в казарме кавалерийского эскадрона в Красном селе. На дворе - декабрь. Вокруг человек пять-шесть мобилизованных командиров на должности инженерно-технического состава. Уточнили, кто есть кто, оказалось, что старший инженер – я один, младших инженеров – двое: Розов и Петров, три старших техника – Цветков, Мартынов и Богданов, пятеро младших техников: Зингер, Дмитриев, Шувалов, Шаповалов и Кантор. Зингер оказался не строителем, а автомобилистом. В первые дни мы не знали, какая часть и для чего формируется. Все держалось в секрете, хотя ночевать после дневного пребывания в казарме нас отпустили домой. Прояснение ситуации наступило лишь после того, как прибыл кадровый командир Лиллак, представившийся нам как командир отдельного батальона, и его начальник штаба Максименко, тоже только что призванный в армию. Как –то сразу прибыли четыре командира рот с политруками, командиры взводов по четыре на роту и, наконец, комиссар батальона и уполномоченный особого отдела. Если командир батальона Лиллак, даже будучи финном и плохо владея русским языком, вызывал сим-

патию, то комиссар Устиров был истинный дубина. Его выдвинули из политруков рот на должность комиссара батальона отнюдь не за политическую грамотность и эрудицию, а за нахальство и стремление «встревать» в дела, в которых он разбирался, как свинья в апельсинах. Нужно сказать, что он был не только круглый дурак, но и двуличный человек. С первого же дня он объявил беспощадную борьбу с выпивками, а сам, как это вскоре выяснилось, пил потихоньку «из под полы» и в количествах, более, чем нескромных.

Начал прибывать и рядовой состав. Поступило уточнение, что создается строительная часть, и появилась необходимость обучать красноармейцев специальности. Рыть землю большинство из них умели, как-никак крестьянин всю жизнь имел дело с землей, а вот обучать каменщиков пришлось немедленно, так как их почти не было, зато под руками оказался кирпич. Я в кирпичной кладке разбирался, как и наш комиссар в политике, слабо, но зато у меня оказались «свешные на кирпичной кладке зубы» техники: Богданов, Шувалов, Дмитриев и Мартынов. Два младших техника Кантор и Шаповалов были совсем мальчишками, только что закончившими техникум, в котором я преподавал сопронат.

Петров (младший инженер) был неплохим проектировщиком, а Розов был ни то, ни се, хотя, несмотря на это, он в строительстве смыслил больше, чем я. Руководить людьми мне помогало нахальство, приобретенное вместе с опытом политработника, бравшегося в своей работе за все, что жизнь заставляла. Кроме того, я имел две шпалы как комбат и комиссар батальона.

Конец марта 1934 года. Где-то на Полтавской улице, в квартире младшего техника Мартынова, перед отъездом в отдаленные места почти весь технический состав батальона собрался на организованную в складчину вечеринку. Из командного состава был только Рутковский. Все собрались с женами, а кое-кто прихватил и родственников. Цветков, например, пришел с женой и сестрой жены, молоденькой, но, по-видимому, уже «тронутой» шестнадцатилетней девчонкой, глазастой и бойкой. Все знали, что отправляемся далеко, но не известно куда. Все понимали, что разлука будет долгой. Настроение несмотря ни на что – приподнятое. Кое-кто выпивает и выпивает крепко, особенно мои техники Богданов и Мартынов, автомобилист Зингер тоже не отстает от них. Стол шикарный, звенит и сверкает хрусталь. В одной из комнат наша компания потеснила соседей, играет нанятый оркестр из трех человек. Квартира, хрусталь ваз, рюмок и графинов Мартынова, его жена, дочка крупного купца по «фуражу», обеспечила с блеском сервировку стола. Остальная публика была, вроде меня, «голь перекатная», только что обзаведшаяся семьей и ютившаяся по случайным комнатам или углам, ничего не имея за душой. Я же был «свадебным генералом», «персоной грата». Попили, поели, кто умел, потанцевал и, пользуясь разворотливостью и сообразительностью нашего автомобилиста, были развезены на авто по домам.

Дня через два-три мы погрузились в эшелон и тронулись в неизвестность.

Апрель 1934 года я провел на колесах, то есть в эшелоне, который вез батальон и всю его технику куда-то на Восток. Все грузы на платформах тщательно маскировались, хотя и везли мы из техники только две бетономешалки, легковую машину комбата и штук шесть самосвалов. Все уже были обмундированы. Как позже выяснилось, все имущество батальона было приобретено на средства Наркомпищпрома, который вытребовал для себя батальон из наркомата обороны, по примеру наркомпути, который вытребовал себе целый корпус. Наш батальон носил полное название – 21-ый отдельный инженерно-строительный батальон наркомпищпрома. Но все это выяснилось только в мае.

Наркомпищпром позаботился не только о техническом обеспечении батальона, но и о духовной пище. В эшелоне следуют, кроме библиотеки, еще два или три патефона с набором популярных в то время пластинок. Как и положено для эшелона, он составлен из теплушек и платформ с техникой. На теплушках - сохраняющаяся, может быть, со времен мировой войны надпись: «сорок человек или восемь лошадей». В середине эшелона «классный» вагон для командного состава и штаба. Классность вагона не высокая, всего-навсего третий класс. Со мной в купе следуют два инженера и Мартынов, рядом за перегородкой Лиллак со штабными.

Перегоны от Ленинграда до Вятки вернули меня к дням моего беспризорного шатания в этих местах. Ведь все более или менее заметные станции этих мест до боли памятны мне. Все они, строившиеся по одному проекту и на один манер, встают перед моими глазами в своем первозданном виде. В центре вокзала, под полуаркой вход в зал с кассами, налево зал ожидания для пассажиров третьего класса, заставленный тяжелыми, из дуба крепко сотворенными «диванами» с высокими спинками. Как мне знакомы эти диваны! Сколько ночей я провел под ними, отсыпаясь от бесцельных и изнуряющих шатаний вокруг вокзалов и по станционным путям. Залы ожидания были открыты круглосуточно и давали приют не только ожидавшим поезда, но и «бродящим меж двор», вроде меня, бездомникам. Как дороги и памятны названия этих станций: Званка, Тихвин, Бабаево, Череповец, Вологда, Буй, Галич, Шарья, Свеча, Котельнич и Вятка! Сколько дум я на них передумал и сколько пролил незаметных для окружающих слез!

Наш эшелон, как всем эшелонам мирного времени положено, еле ползет все на Восток и на Восток. Перевалили за Урал, сутками тащились по бескрайним Барабинским степям, как-то незаметно втянулись в покрытые тайгой сопки и вплотную, даже нависая над ним, подобрался к Байкалу. Легендарный Байкал поразил меня своей суровостью. Прибайкальские станционные домишки донельзя запущены, своими маленькими окнами, по барачному подслеповато смотрят на просторы «моря» и на приборные скалы. На Слюдянке на одном из пакаузов аршинными буквами выведено: «Курить и стрелять воспрещается!». Как будто здесь стреляют так же часто, как и курят. Что это? Местный колорит? Надо запомнить.

В дороге нас, инженеров и техников, ни к каким нарядам и работам не привлекали. Валялись на койках, резались в шахматы, слушали одни и те же пластинки: «Риорита», «Вот извозчику взгрустнулось», танго «Качели», неаполитанские песни и серенады. Забайкалье – Чита и почти все станции, вплоть до Хабаровска, повергли нас в мрачные раздумья. Районы вечной мерзлоты в Могоча, Ерофей Павлович улучшить наше настроение никак не могли. Но выгрузиться мы стали только в Никольск-Усурийске.

В Никольск-Усурийске нас уже ждали. На месте находился только что назначенный начальник строительства сахарного завода Грицевский, главный инженер-технолог сахароварения, старикан, съевший на монтаже сахарных заводов зубы еще при царизме, лет шестидесяти, начальник кирпичного завода и несколько слесарей монтажников. Рабочих строителей, как таковых, не было. Мы должны были заполнить этот вакуум. Поскольку не было главного инженера строительства, меня сходу по совместительству назначили на это место. Строительство было начато раньше. Уже было почти закончено здание завода, и в нем начался монтаж оборудования. Были заготовлены некоторые материалы и узлы еще несуществующих помещений. Нам с нуля надо было начать строительство ТЭЦ, обеспечить водозабор из реки Суйфун, все очистные сооружения, траншеи для приемки и транспортировки сахарной свеклы, хранилища для патоки и готовой продукции.

Очень деликатно оказывал мне помощь начальник строительства Грицевский и менее деликатно – мои подчиненные техники, без которых я бы не смог даже распределить бойцов по работам. Грицевский помогал от души, а подчиненные инженеры и техники помогали мне потому, что без меня, моего звания (две шпалы) и положения старого большевика им в батальоне не было бы житья от командно-политического состава. Междоусобица в батальоне, а это сказывалось на количестве выделяемых на работу людей, дошла до того, что я заявил Лиллаку, что будучи, хоть и по совместительству, главным инженером строительства, обращаюсь, минуя его, сразу к наркому А.И.Микояну. Мы подчинялись непосредственно ему, хотя стояли на довольствии в Никольск-Усурийском гарнизоне. Это возымело свое действие.

Я по собственной инициативе занялся ерундой – выверкой заложения фундаментов под башмаки, упустив, что рядом, открытые еще в 1933 году были заложены фундаменты под склад готовой продукции, глубиной всего полметра. Грунт под фундаментом промерз, эта-то мерзлота и сыграла потом с нами злую шутку, когда возведенные нами стены начали давать трещины и в конечном счете их пришлось перекладывать.

Кирпичную кладку стен обеспечивали «козонасками», только для подъема раствора Мартыновым был сконструирован шахтный подъемник. Нам нужно было уложить всего 1300 кубометров бетона, по тем временам объем немалый. Проектная документация была не завершена, смета на сооружение в десяток миллионов была составлена всего на 380 тысяч рублей.

С грехом пополам и поднатужившись, но сахарный завод мы построили. В местной газете «Коммунар», органе оргбюро ВКП(б) Уссурийской области и горкома ВКП(б) города Ворошилова от 3-го марта 1935 года, наряду с приветствием товарищу Сталину, с сообщением о вступлении в строй первого на Дальнем востоке сахарного завода имени Калинина, с обращением к К.Е.Ворошилову в связи с переименованием Никольско-Уссурийска в город Ворошилов-Уссурийский, обращением и поздравлением к секретарю крайкома ВКП(б) Лаврентьеву, была опубликована и моя статья «Строя - учились строить». В газете была опубликована и моя фотография, но для сохранения секретности я был сфотографирован в штатском, и в статье говорилось, вроде бы, о штатских людях.

Как ни странно, но на строительстве сахарного завода я столкнулся с вредительством «беспартийного спеца», старорежимного специалиста сахароварения Ефимовым. Именно он еще до нашего прибытия начал монтаж оборудования завода и монтаж арок несущих конструкций, как стен, так и кровли склада готовой продукции. Конструкции мне, и всем нам - строителям показались подозрительными, и я распорядился пересчитать несущие возможности этой конструкции. Работу эту выполнил Петров. Результат: заготовленные конструкции использованы быть не могут. Затраты рабочего времени и сотен кубометров теса были напрасны. В другой раз тот же Ефимов, видя, что я отошел от проекта, не только не поправил меня, но повел себя так, будто ничего не случилось. В результате, когда завод заработал и вода из одной «комовой ямы» начала поступать на поля орошения, то в речке Супутинке начала дохнуть рыба. Второй отстойный колодец, который был обозначен в проекте, и который я по незнанию не соорудил, был тоже «незамечен» Ефимовым.

Начальник строительства как-то пропустил этот факт мимо своего внимания, хотя я и доложил ему об этом. Да и самого Ефимова на строительстве уже не было. Дело о вредительстве так и замылось. Этому способствовало также и то, что внимание партии в 1936 - 1937 годах было обращено на борьбу с оппозиционерами и их разоблачение. Немало волнений принесли и другие моменты строительства. Взять, например, прокладку «водовода» от Суйфуна к заводу. Построив водонасосную станцию, мы начали тянуть нитку водовода сразу с двух сторон, и подошли траншеями к полотну транссибирской железной дороги. Рассчитав, что по расписанию никаких, ни пассажирских, ни товарных составов проходить не должно, мы проложили траншею под рельсами, не выставив никаких знаков опасности, принятых на железных дорогах. Не успев укрепить траншею перекрытием, я заметил, что от Ворошилова идет воинский эшелон. Сердце ушло в пятки, когда я смотрел, как он идет к месту своей гибели. Но произошло чудо... Сработали те несколько распорок, которые мы успели поставить, составлявшие малую часть положенных по норме. Полотно железной дороги просело до двадцати сантиметров, ни рельсы, ни стыки не подвели, и поезд благополучно миновал роковой для меня участок.

Было и другое. Вступила в строй котельная, когда турбина ТЭЦ начала набирать обороты, то из трубы котельной вырвался столб пламени, который был готов охватить склад готовой продукции и другие деревянные постройки. Но минут через пять-семь выброс огня прекратился, оставив нас в полном недоумении. Начали разбираться... Оказывается Мартынов, осматривая подземную часть дымохода, обнаружил продольную, идущую по всей длине его, трещину, и, опасаясь ЧП (то есть обвала) опалубку не снимал. Вот эта-то опалубка и загорелась, заставив нас несколько минут умирать от страха. Хотя опалубка и сгорела, и трещина, как была, так и осталась, обвала не произошло, и дымоход работал, как положено. Да, мы были кустари, в самом плохом смысле, а не строители.

Параллельно со строительством сахарного завода в самом городе шло строительство масложиркомбината. Там постоянно работали: Петров - инженером и Цветков с Шуваловым - техниками. Я же, проживая на сахарном заводе, туда наведывался только временами.

Наконец, урожай сахарной свеклы был собран, оборудование завода проверено и отлажено, был получен первый на Дальнем востоке советский сахар. И в феврале 1936 года, уезжая в отпуск, я получил командировку в Москву на предмет вручения А.И.Микояну литровой стеклянной банки с сахарным песком - нашего первенца .

Отправляясь в Москву, я имел еще мысль лично обратиться к начальнику главстроя наркомпищепрома Емельянову. Дело в том, что я дважды письменно обращался по команде с рапортом об откомандировании меня преподавателем в ленинградский институт, но ответа на оба рапорта не получил. Вот с этой просьбой я и обратился к Емельянову в Москве.

Прием у наркома, куда мы пришли вместе с Лиллаком, свелся примерно к следующему. Емельянов представил нас Микояну, и мы, вернее я, так как Лиллак плохо говорил по-русски, доложили, что вот, мол, привезли Вам, товарищ нарком, образец нашего первого дальневосточного сахара. Микоян взял нашу литровую банку, взвесил на руке, понюхал, попробовал немного и отметил, что сахар, хотя и не чисто белый, а с желтинкой, первый, и этим особенно ценен. Поздравил нас и пожелал нам дальнейших успехов. Надо сказать, что Емельянов представляя меня наркому, произвел меня в доценты и заметил, что было бы неплохо перевести меня в аппарат министерства, но я, не желая вводить в заблуждение наркома, поправил, что я не доцент, а только аспирант, и что начальник главстроя обмолвился. Микоян обошел молчанием обращение Емельянова и мое заявление и, пожимая нам руки, сказал, что соответствующий приказ по наркомату о вынесении нам благодарностей и вручении премий будет вскорости объявлен, и отпустил нас с миром.

Приказом наркома я, Лиллак и начальник гаража Зингер были премированы семейными путевками в санаторий в Сочи, а Лиллак и я, кроме того, наградились охотничьими ружьями. Ружье мне было совсем ни к чему, так как я за всю жизнь не сделал ни одного выстрела ни по зверюшке, ни по птице.

Ружье «Тулка» было не именным, и месяцев через семь я его со всеми принадлежностями и снаряжением продал Рутковскому.

Через два года мне еще раз пришлось быть на приеме у наркома, наркома рыбной промышленности, Жемчужиной-Молотовой. Докладывал о завершении строительства холодильника на станции Амур под Хабаровском. На этот раз я удостоился только личной благодарности наркома и приглашения посетить заседание коллегии наркомата рыбной промышленности. Грешный человек, я подумал, что буду свидетелем деловой и серьезной работы наркомата в узком его составе. На самом деле это было не заседание, а скорее, какое-то торжественное собрание работников, в той или иной степени причастных к работе наркомата рыбной промышленности. Заслушивался доклад заведующего «Гипрорыбой» или чем-то созвучным этому. Было много похвалы и мало критики. Будучи в те времена смелым и, можно сказать, нахальным, я, запиской к Жемчужиной попросил слова в прениях, намереваясь рассказать и похвастаться нашей работой, но моя просьба была оставлена без внимания. Слова мне, к счастью, не дали. К счастью, потому, что все равно я бы ничего дельного не сказал. Дельного, на мой взгляд, никто из ораторов тоже не говорил.

Интересно, что один из «дельцов», присутствовавших на этом собрании, захотел, по-видимому, поддеть меня и поставить в неловкое положение. Подавая записку в президиум, я написал на записке - «Жемчужиной». «Делец» же, заметив это, сказал, что следовало бы написать «Жемчужине».

В феврале 1936 года, когда я еще служил в Никольск-Уссурийске, я собирался в отпуск в Ленинград, беспокоясь о здоровье жены, которая должна была вот-вот родить. Уже находясь на вокзале в ожидании подхода Владивостокского скорого, я получил телеграмму на свое имя и по точному адресу с непонятным текстом «Шлите сукна 875». Промучавшись до Хабаровска в решении загадки «сукна», послал запрос, что случилось с ответом на Иркутск. В Иркутске получил ответ: «Родился сын, молнируй имя. Соня». Вообще-то мне хотелось иметь дочь, но и сын нас с Сончей вполне устраивал. Сына я назвал Ролланом, хотя Сонча хотела бы иметь не какого-то неизвестного ей Роллана, а просто русского Андрея. Но я, прочтя перед этим «Кола Брюньона» Ромэна Роллана, будучи зачарован этой вещью, уже месяца три вынашивал для сына, буде такой появится, имя Роллан. Вообще-то это имя потом нравилось всем, в том числе и Сонче.

В середине тридцатых годов, а в военной среде в их второй половине, распространилось хлесткое выражение «двурушник». Это понятие применялось к людям, которые через день-два объявлялись врагами народа и исчезали. Исчезали по-разному и с разными результатами. Вот этому два примера. Начальником штаба батальона у нас был призванный в 1934 году из запаса бывший подпоручик царской армии Максименко. Он участвовал, и участвовал активно в гражданской войне. Был демобилизован и призван при начале формирования батальона. Однажды политруки попросили его поделиться своими воспоминаниями.

нениями о гражданской войне. Он честно рассказал, в чем его участие в войне заключалось, и с какими военачальниками он встречался и о ком из них что слышал. После проведенной им беседы у него спросили, не слышал ли он что-либо об участии в гражданской войне товарища Сталина. Так как он воевал на тех участках, где Сталина не было, он честно сказал, что не может ничего об этом сказать. На второй же день его в батальоне не было. Всем было сказано, что он враг народа.

Второй случай. Как я говорил, командиром батальона у нас был Лиллак, финн по национальности, член партии с 1919 года. По-русски он говорил плохо, а потому на собраниях почти никогда не выступал и вообще был человек малообщительный, но честный и работающий. Его арестовали совершенно беспричинно. По-видимому, было распоряжение всех старых коммунистов не русской национальности подвергнуть тщательной проверке на предмет, не является ли он зашанным к нам шпионом. Его арест и пребывание под следствием в течение восьми месяцев коснулись и меня. Я был заместителем Лиллака по технической части. Меня вызывали три раза на допрос. И все три раза вызывали ночью в промежуток с часу до трех. Жил я на разъезде Амур, меня вызывали, ехал я на машине батальона в помещение ОГПУ в городе (Хабаровске). Была зима 1938 года, нас приглашали в комнату, в которой посредине стоял только круглый стол (стульев, скамеек и табуреток не было). Просили подождать. Минут через двадцать приносили один стул и предлагали шоферу отдохнуть, не обращая при этом на меня никакого внимания. Шофер красноармеец, конечно, жметса, ему неудобно сидеть в присутствии начальника, которым являлся я, да еще со шпалами. Он не садится, не жасуся и я. Проходит час-два, наконец, вызывают меня. Сидит командир, в петлицах три шпалы. Пододвигает мне лист бумаги и предлагает написать все, что я знаю о шпионско-диверсионной деятельности Лиллака. Так как я ничего не видал, не знал и ничего не подозревал, то на этом и ограничивались мои показания. Сей «деятель» взял лист с моими записями, просил меня выйти и подождать еще. Через час-полтора вызывают обратно и мне заявляют что я «пока могу быть свободным». В те годы далеко не всякий вызванный на такой допрос возвращался домой.

А вот еще один случай. При проектировании холодильника на разъезде Амур не была запроектирована железнодорожная ветка к нему. После пожара на холодильнике вследствие диверсии или вредительства, начальником строительства мясхладстроя Недельчик был осужден Хабаровским народным судом на семь лет. Недельчик пошел в Хабаровский крайком партии, поговорил, там и судебного дела как ни бывало. Оно исчезло. Это был 1938 год.

В 1937 году исполнялась 20-я годовщина РККА, в ознаменование которой все, кто служил в армии в годы гражданской войны, награждались юбилейными медалями. Этой медалью безусловно должен был быть награжден и я. Но так как в это время меня начали таскать в НКВД, то, пользуясь этим, политсовет батальона меня к награждению медалью не представил. Основанием бы-

ло то, что я непосредственно в боях с белыми не участвовал. Это верно, но ведь для коммунистов тех времен фронт был везде - и в деревне, и в казарме, и на заводе.

К этому времени можно отнести и «мое исключение из партии». Дело было так - я время от времени с группой товарищей по работе выпивал. Выпивки эти были невелики, и никто в нашей компании, я тем более, пьяным никогда не был. Но для политработников батальона и этого оказалось достаточным, чтобы поставить вопрос обо мне на партбюро. Во всей этой истории главную роль сыграла «черная зависть» некоторых товарищей. Я лучше, чем любой из политработников, мог провести политзанятия, и, конечно, я был политически более грамотным, чем они. А главное, я, будучи только заместителем командира батальона, носил такие же знаки различия, как комбат и комиссар. На партбюро мне было предъявлено обвинение в совместных выпивках с подчиненными, это, якобы, отражалось на строительных работах. И, представьте себе, партбюро меня из партии исключило. Исключило, несмотря на то, что по партстажу я в батальоне был старше всех. Но исключение все же не состоялось, так как партийное собрание не утвердило решение бюро, а ограничилось вынесением мне выговора без занесения в учетную карточку. Через три месяца это взыскание было с меня снято.

Но подошел 1939 год, и по непонятной для меня причине меня перевели на работу в штаб 2-й Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОК ДВА).

Штаб Второй Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии

По совершенно непонятной для меня причине мною вдруг в 1939 году заинтересовались в штабе Второй Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии (ОКДВА) в Хабаровске. Так, летом я получил приказ за подписью командарма второго ранга И.С. Конева (таково было его звание в те годы), гласивший, что я назначаюсь на должность главного инженера и заместителя начальника квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) армии. Оказалось, Коневу не понравился чем-то бывший до меня главным инженером Изотов, до этого окончивший военно-инженерную академию.

Более несуразной и малопонятной для меня работы я еще не знал и не делал. Квартирно-эксплуатационный отдел занимался ремонтом квартир командного состава, казарм и был заказчиком на постройку домов для начальствующего состава на всей территории ОКДВА. Подрядчиком же был Дальвоенторой и, как всегда, отношения подрядчика с заказчиком не ладилась. Не уладил их и я.

Начальником КЭО армии был полковник И.В. Соколов, до того пребывавший в должности командира понтонно-мостового полка, который в делах КЭО смыслил еще меньше, чем я. В КЭО, не считая Соколова, примерно в течение двух лет сложилась группка, которая и вершила за моей и Соколова спиной все дела. Изотов, отрешенный от дел и отстраненный от должности, по какой-то причине все время околичивался вокруг да около отдела. Я чувствовал, что при первом моем промахе или оплошности ранее сложившаяся вокруг него группочка меня съест и не подавится. А съест кого-либо в 1939 году при желании можно было любому кляузнику.

Почти сразу же после ознакомления с работой меня направили в командировку на Камчатку. Предполагалось, что я выеду туда вместе с комиссией «Дальвоенстрою», но она выехала на день раньше меня во Владивосток, быстро устроилась на корабль и укатила. Оказавшись во Владивостоке один, в ожидании следующего транспорта на Петропавловск я загрустил, но вспомнил, что во Владивостоке должен был находиться, хоть мало, но все ж-таки знакомый мне начальник «Главмясо», приехавший к нам в батальон для проверки нашей работы от имени «Главстрою наркомпищепрома».

Парнем мой малознакомый оказался замечательным, хотя и старше меня лет на пять. Он предоставил в мое распоряжение свою комнату, по вечерам поил меня пивом и развлекал игрой в «железку» по маленькой, так как денег у меня было в обрез. За две недели ожидания казнии, я проигрался в пух и прах, или по-другому говоря в доску. Продулся так же и начальник Хабаровского военторга, разделявший мою участь ждущего у моря погоды. Транспорт, на который нас определили, шел не обычным путем через пролив Лаперуза, а Татарским проливом и через Амурский лиман. Транспорт укрывали от глаз и рук японцев, опасаясь за груз, состоявший из авиабомб для наших самолетов на Камчатке. Был сентябрь месяц, самое лучшее время на Дальнем востоке: не жарко, но и не холодно и не ветрено. Ночи были замечательны, публика, окружавшая нас, тоже была неплохая: семьи, добирающиеся до расположившихся на Камчатке командиров какого-то стройбата.

В Петропавловске комиссии, которая должна была служить мне ориентиром в моей работе, не оказалось. Опять сидел и ждал теперь уже рейса самолета для вылета в Ключевскую. Погоды не было, и самолета не было. Так я его и не дождался до окончания срока моей командировки. Не понимая смысла и не зная целей своей командировки, я взялся за постороннее, но оказавшееся рядом дело, просмотрел и в пух и прах разнес план работы Камчатской конторы «Дальвоенстрою». Пользуясь влиянием на окружавшую нас среду начальника военторга, проигравшегося во Владивостоке, как и я, а потому, входившего в мое бедственное положение, я смог привезти из командировки жене два отреза на платье и себе на костюм. Без этого мое положение вернувшегося без командировочных мужа было бы более, чем плачевным. Никаких отчетов с меня никто не потребовал. Сам я доложил Соколову о чем-то, да Конев спросил, как устроились на зиму в Петропавловске и Елизово (поселок кило-

метрах в двадцати от города) переброшенные туда летом артиллерийский полк и эскадрилья самолетов.

Пребывание мое в штабе армии позволило мне наблюдать за работой как самого штаба, так и командующего армией. Я узнал близко методы работы армейских кругов более высокого ранга, чем до этого.

Командующим ОКДВА был командир второго ранга Конев Иван Степанович. С ним я довольно часто встречался на приемах с докладами, на заседаниях военного совета армии и даже в течение трех суток сопровождал его в вагоне при поездке по частям и соединениям армии. Командующему полагался отдельный поезд в составе: салон вагона, вагона связи и вагона «прикрытия», не считая паровоза. В салон - вагоне расположился он в отдельном купе, а рядом, но в двухместном купе – инструктор ПОАрма и я. В вагоне был еще проводник, совмещавший свою должность с обязанностью повара.

О Коневе у меня сложилось мнение как о человеке большой работоспособности, большой и суровой требовательности к подчиненным, большом организаторе и администраторе. Нужно сказать, что даже в то время все перед ним дрожало и страшно его боялись. На заседаниях военного совета никто и никогда своей точки зрения, хотя бы в мелочах отличавшейся от точки зрения командующего, не решался высказать. А ведь членами военного совета были командующий ВВС Жигаров, недоброй памяти (по воспоминаниям генерала Горбатова) член военного совета Фоминых, зам.командующего Романовский, начальник тыла Анисимов и другие. По своей работоспособности и аккуратности в работе и большим способностям Коневу равнялся, разве что, Анисимов, в последующем генерал-полковник. Начальника ВВС Жигарова (позже, в годы войны он был командующим ВВС Красной Армии) в штабе ОКДВА не любили за его беспринципность, карьеризм и даже лживость. Командиры, работавшие с ним, предупреждали всех, что Жигарову на слово верить нельзя, он может в любое время отказаться от им сказанного или приказанного, если нет официального приказа подписанного им. Что же касается Фоминых и начальника ПУАрма (фамилию его я зыбыл), то в штабе армии они были известны больше, как интриганы, высматривавшие, кого бы можно было «съесть», чтобы хоть этим как-то проявить себя. Кроме того, о Коневе хочется сказать, что он был, хоть и служист, но честен и прямолинеен. Не знаю, почему, хотя я и был небольшой шишкой, Конев и Анисимов относились ко мне хорошо, без грубостей и без излишней амбиции. Может быть, этому способствовало то, что я имел даже по тем временам солидный партийный стаж, а также потому, что в штабе я прослыл своеобразным эрудитом. Так, например, в те годы я имел нахальство выступать с лекциями по истории философии, не говоря уж о том, что мне почти всегда удавалось с успехом выступать на различных собраниях по различным вопросам.

Вот эта самая эрудиция, в какой-то степени поспособствовала тому, что я был переведен из штаба ОКДВА в преподаватели военно-инженерной академии имени Куйбышева в Москву.

Дело было так: Конев имел привычку на заседаниях военного совета армии придираться к отдельным выражениям или словам, если ему казалось, что эти слова были или неправильно или не к месту употреблены. Как-то докладывая на военном совете о плане строительства на 1940 год, Соколов, мой непосредственный начальник, говоря об ассигнованиях на строительство военного госпиталя в Биробиджане, заявил, что средств не хватает, а раз его надо пустить в строй, то на следующий год придется попридержать средства на всякие там изваяния. Вот эти самые изваяния почему-то Коневу и не понравились, и он чуть что не так, начал вставлять это словечко. Мне несколько раз удалось после этого выступать благополучно, но вот однажды, когда я докладывал об ассигнованиях на «Эмшеровские колодцы», Конев спросил меня, что же это такое. Я рассказал, что сточные воды, переливаясь из одного водоема или колодца в другой, самоочищаются, а на последней стадии в последнем колодце очищаются аэрацией. Эта аэрация, примененная для описания очистки сточных вод до кондиции питьевой воды, настолько не понравилась Коневу, что он сказал: «опять у вас появились изваяния». И надо же было мне опять сунуться со своей эрудицией, я не утерпел и сказал, что такие слова употребил и Маяковский, сказавший: «Не великая честь, чтоб среди этаких роз мой изваяния высились»... Конев ничего не ответил, но я заметил, что покраснели даже мочки его ушей. После этого он нас с Соколовым гонял по плану строительства еще пару дней и вынес решение: «За неподготовленность плана строительства начальнику КЭО армии Соколову объявить выговор, а главного инженера, то есть меня, откомандировать на строительство». К этому времени как раз исполнилось шесть лет моего пребывания и службы в особо удаленных местностях, и я подал рапорт о переведении меня на службу в один из центральных военных округов. Позже я «стороной» узнал, что Конев распорядился откомандировать меня, а то бы, даже при согласии всех и вся в штабе армии, то есть Соколова, Анисимова, Романовского и даже Фоминых, обратиться с Дальнего востока мне так и не удалось бы.

И вот, недели через две мне вручают приказ о назначении меня преподавателем кафедры деревянных конструкций военно-инженерной академии имени Куйбышева в Москве. «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

30 апреля 1940 года я с Сончей сел в экспресс и отпраздновал в поезде и Первое мая и мое возвращение в центр на преподавательскую работу.

Москва 1940 год

Итак, я преподаватель по кафедре деревянных конструкций военно-инженерной академии имени Куйбышева. По прибытии в Москву представился начальнику кафедры инженер полковнику профессору Карлсену. Как сейчас вижу, сидит он в преподавательской комнате и рассматривает сделанные

из бумаги и налитые водой коробочки. Коробочки были пропитаны каким-то водостойким клеем и воду не пропускали. Профессор смотрел на коробочки и наверно удивлялся. Я тоже подивился на свойства коробочек и клея и сказал ему, что лет шесть тому назад я был аспирантом и даже преподавателем ЛИПСа. Он кивнул головой и не сочтя нужным спросить меня, в какой мере я знаком с деревянными конструкциями, отпустил «с миром», сказав, что сейчас никакой работы не предвидится, так как все слушатели академии или на производственной практике, или, как и преподаватели, находятся в отпусках. В заключение он предложил мне наведаться к начальнику учебной части академии. Я направился в учебную часть, где ее начальник, повторив все сказанное Карлсенем, добавил, что мне предоставлена койка в общежитии слушателей старших курсов академии, где мне и надлежит проживать.

Сейчас я удивляюсь, как я не сбред, получив такое назначение и прибыв на должность в академию. О деревянных конструкциях я имел весьма смутное представление. Проходил я этот курс лет семь назад, и ничем особым он меня не привлек. Помнил я, что о деревянных конструкциях было написано в учебнике Иванова. Я решил, что кривая вывезет - чего не знаю, то вычитаю, а уж изложить прочитанное, как ни как смогу. Да, я продолжал быть излишне уверенным и нахальным.

Положение мое в академии было довольно странным. Я не был в отпуску, так как использовал его, но и работы для меня не было. Я каждый день приходил к начальнику учебной части и спрашивал, что мне делать, и он изо дня в день повторял: «идите и отдохайте». Мне бы следовало обложиться «деревянными конструкциями» или книгами, где о них написано, но не тут-то было – оказывается, я обленился. Я отвык от такой работы. Меня занимала не работа, а вопрос, где я буду жить. Сонча с Ромашкой в это время была в Гурзуфе, а я жил в маленькой комнате с каким-то майором, который все время набивался с просьбами помочь ему в сдаче экзаменов по статике. Все же моя физиономия надоела начальнику учебной части, и он послал меня в Истру, в командировку, проверить, что там делает пяток слушателей на практике. Это у меня заняло трое суток. Возвратился и снова оказался не у дел.

Хождение «за работой» и наблюдение за академической жизнью привели меня к убеждению, что командование академии, в какой-то мере, шокировано тем, что без их совета сверху назначили меня на должность, на которую в академии было достаточно претендентов. Учитывая это, я стал усиленно просить начальника отдела кадров о переводе меня в Ленинград, где у меня есть жилплощадь, и где проживала моя семья. Я даже пошел на прием к начальнику политотдела академии, им оказался старший батальонный комиссар (три шпалы), с просьбой откомандировать меня, мотивируя свою просьбу тем, что, мол, мне, по-видимому, нельзя будет ужиться со сплоченным коллективом преподавателей академии из-за сложившегося отношения к чужакам. В ответ услышал: «Ты болтаешь всякую ерунду». Таким ответом я был ошеломлен и сказал, что до сих пор в парторганизациях, где я состоял на учете, таким то-

ном со мной еще никто не разговаривал. Ушел я от этого так сказать «политработника» оплеванным.

Примерно в это время Сонча из Гурзуфа прислала телеграмму, что Ромашка очень болен. К моей беде в учебной части академии отнеслись совсем не так, как в политотделе. Мне выписали отпускной билет на краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам, а также литера на дорогу. Хорошо, что я зашел перед отъездом в Крым к бывшему начальнику строительства в Хабаровске Недельчику, и он дал мне порошков только что появившегося, и в связи с этим особо дефицитного, сульфидина. Мы с Сончей до сих пор считаем, что только сульфидин спас нам Ромашку.

Приехав в Крым, я застал свою семью уже не в Гурзуфе, а в Ялтинской больнице. Ромашке было очень плохо. Он болел дифтеритом и корью одновременно. После приема сульфидина его дела пошли на поправку. Пока Ромашка выкарабкивался из болезни, я проживал в той же больнице в отдельной палате. Затем, отыскав в одном из крымских санаториев Аркашу Зингера, вместе с ним выехал обратно в Москву. Он - за получением нового назначения, а я - в академию, добиваясь перевода в родной мне Ленинград.

Мои просьбы, а равно и желание академии избавиться от меня, возымели свое действие, и я получил назначение в Ленинград на должность преподавателя инженерных курсов усовершенствования командного состава Красной армии (ИКУКС КА).

Ленинград 1940 – 1941

В октябре 1940 года я оказался вновь в родном мне Ленинграде. Инженерные курсы усовершенствования командного состава Красной Армии только что выделились из инженерного училища и расквартировались в здании казарм на улице Радищева. Вся семья моя оказалась в сборе на Владимирском проспекте в комнате, ранее принадлежавшей Сонче. Если в отсутствие меня и Сончи тут ранее проживала Аня (сестра моей умершей жены Надинки), то теперь ей пришлось выехать.

На курсах меня назначили на должность преподавателя по организации и производству военно-инженерных работ. Начальником курсов был военный инженер первого ранга Синявский, а начальником учебной части – будущий мой друг и товарищ, подполковник Черепов. Почти все преподаватели в недавнем прошлом закончили военно-инженерную академию. Среди них были: Белов, преподаватель военных дорог, Алексеев, ведший тактику военно-инженерного обеспечения боя, Тоскарь – минно-подрывные работы, Саватеев – понтонно-мостовое дело, Акатов – старший преподаватель по военным мостам – закончил не академию, а заочное отделение ЛИПСа.

Первый мой разговор с начальником курсов Синявским был неудачен. Дело в том, что планирование строительных работ, с которым я был кое-как знаком, в основном касалось работ, выполняемых в течение полугода и даже целого года, в то время, как планирование военно-инженерных работ рассчитывалось на день-неделю и, самое большее, на месяц. С формами такого планирования я был вовсе не знаком. Я почувствовал, что Синявский был во мне разочарован, и в заключение он заявил, что «мы разговариваем на разных языках». Ближайшее же будущее показало, что не так страшен черт, как его малюют. Премудрости, преподносимые слушателям преподавательским составом, были не ахти, как велики. Вернее этих премудростей не было вообще. Прочтя существовавшие в то время указания по вопросам планирования военно-инженерных работ, я быстро освоился с ними и методически стал проводить занятия несколько не хуже, а, пожалуй, даже лучше многих преподавателей. Я, например, ввел в практику «расчерчивание» на деревянных брусках различных сопряжений деревянных элементов. Продельывал я это не на доске для всей аудитории, а заставил работать каждого слушателя, сидящего за столом, на специально заготовленных заранее брусочках различных сечений (квадрат, круг, прямоугольник и прочие). Кроме того, я ввел разбивку земляных работ под различные рода инженерные сооружения, опять-таки не на доске, а во дворе казарм, при помощи трассировочных шнуров и заранее заготовленных колышков.

Что же касается моей активности на партсобраниях и на занятиях по марксистско-ленинской подготовке, то я ни в коей мере не уступал никому из моих товарищей по работе. В результате, в скорости мне не только не делали указаний и замечаний, а даже ставили в пример другим преподавателям. Сравняться по знанию материала с другими мне помогло вышедшее в то время «Наставление по низководным мостам». В знаниях его мы все начали с нуля, а так как прочитанное я мог усвоить быстро и пересказать его, то я вышел на уровень подготовки своих товарищей «академиков». Среди слушателей закрепленной за мной группы командиров я был вполне авторитетен в своей области и слыл даже за большого эрудита, после того, как провел несколько бесед (конечно, весьма популярных) по вопросам истории и современного состояния философии как науки.

Мы продолжаем жить всей семьей на Владимирском проспекте. Живем дружно. Особых хлопот нам наши дети не доставляют. Владимир ходит уже в седьмой класс школы. Ромашке уже четыре года. Мы, я и Сонча, много читаем ему, развивая его память. В четыре года он уже на память знал обе части «Песни о Соколе» Горького. Материально я тоже стал понемногу опереться. Мы с Сончей купили буфет, который и до сих пор служит нам, кушетку (диван) и три стула. Приобрели также кое-что из постельного белья. К этому же времени относится и образование у меня библиотечки, включавшей в себя классиков, кое-что из советской литературы и литературы технической. Ко-

нечно, к этому времени я уже полностью отошел от приятелей моей холостяцкой, а вернее, жизни вдовца.

В ту пору меня, как и всех коммунистов, волновали события внешней политики, а именно, угрозы усиления фашизма в Германии и сосредоточение ее войск у наших границ и на территории Финляндии. Финская война прошла для меня как-то стороной, я находился тогда очень далеко от фронта, на Дальнем востоке. Знал я только одно, что в этой войне «моя» 18-ая дивизия, в которой я оперился как политработник, была наголову разбита финнами и морозом в лесах Финляндии. Эта война для меня внезапно началась и так же внезапно кончилась. Кончилась для нас победоносно, хотя и потребовала больших жертв. Не знаю как кого, но меня эта война убедила, что наша страна условно непобедима. Этому способствовали заявления Сталина и Ворошилова о том, что воевать мы будем «малой кровью» и на чужой территории. Ворошилов как-то заявил, что мы можем тенью наших самолетов покрыть всю Германию. Но как бы там ни было, но разговоры о возможной войне с Германией слышались все чаще и чаще. Материалы, помещаемые в газетах, хотя они и проходили так называемую «внутреннюю цензуру», все же заставляли всех коммунистов думать о том, что война близка.

Я и начальство ИКУКСа, успокоенные заявлением ТАСС, разъехались по отпускам. Я поехал к своей матери в Новинку и о начале войны случайно узнал, прослушав речь Молотова по детекторному приемнику, смонтированному моим отчимом. Так началась для меня Отечественная война.

Война началась во второй день, как я приехал в деревню. Семью свою я оставил в Васкелово в лагерях, куда были вывезены курсы в мае 1941 года. В Васкелово мне и моей семье был отведен маленький, в одну комнату, домик. Лагерь курсов располагался как раз на бывшей границе с Финляндией. Боясь за семью, да и вообще, исходя из складывающейся обстановки, я тотчас же прервал отпуск, отшагал тридцать верст до Чебсар, и через сутки был уже в Ленинграде. Семья из Васкелово уже уехала и была в Ленинграде.

Я, да и все советские люди считали, что война продлится месяца три-четыре.

Шли первые дни и недели войны. Я продолжал вести занятия на курсах, куда начали поступать командиры, призванные из запаса. Заниматься приходилось уже не шесть, а десять-двенадцать часов в день. Дела на фронте шли все хуже и хуже. Противник все ближе и ближе подходил к Ленинграду. Нависла угроза бомбардировок города, и население его сравнительно быстро стало эвакуироваться. Вывозили в первую очередь детей. Причем, в первые дни, боясь бомбежек, детей вывозили в южные пригороды, вплоть до Луги.

Мы с Сончей тоже стали думать о том, что пора Вовку, которому тогда было пятнадцать лет и Ромашку – пяти лет, вывезти с каким-либо детским шезеломом за пределы города. Было много приготовлено для их отъезда. Обоих мы подстригли, Сонча обоим сшила по наплечному с ляжками мешку. В каждый мешок была положена пара белья и запасные чулки. Была найдена какая-

то знакомая женщина, заведующая детским садом и начальник эшелона с эвакуированными детьми. Настал день отъезда, но когда мы посмотрели на нашего пятилетнего Ромашку, у нас сжалось сердце, и Сонча заявила, что она детей одних не отпустит: «Будь что будет, а детей я не отпущу».

Обстановка все больше ухудшалась. Немцы уже подходили к Луге, и из Ленинграда началась массовая эвакуация детей и женщин. Направление оставалось только одно – по северной дороге на восток. И десятого июля Сонча выехала поездом до Чебсар с детьми в Новинку.

Великая Отечественная Война

Для ИКУКС КА был выделен эшелон и мы в самый последний момент до захвата немцами станции Мга проскользнули к Волхову по пути на Кострому. Мне разрешили слезть на Чебсаре и забрать семью, с тем, чтобы через неделю быть в части, то есть в Костроме.

При выезде из Ленинграда я не заметил затруднений с продовольствием. Но с каждым днем продуктов становилось все меньше и меньше. В день приезда в Кострому в любом магазине в любое время можно было купить шампанское и крабовые консервы, но и только. Вскоре и это пропало. Начхоз курсов, по-видимому был парнем расторопным, по пути где-то прихватил к эшелону чуть ли не целый вагон с двухсот-граммовыми пачками табаку «Казбек». Воинский паек в тылу был совсем полуголодный, и, если бы не выдача на месяц двух пачек табаку, мне с семьей буквально пришлось бы протянуть ноги. Табак ценился дорого, и в обмен на него можно было выменять картошки и даже кусок свинины.

С приближением зимы 1941 года и с переводом ряда правительственных учреждений в Саратов, а также с возникшей угрозой захвата Москвы немцами началась эвакуация женщин и детей, в том числе и из Костромы. Эвакуация членов семей офицеров хотя и проводилась организованно, но посадка на один из последних пароходов, идущих из Костромы вниз по Волге, была буквально панической. Кое-как Сонча, Вовка и Ролашка устроились в коридоре кают второго класса. Конечно, Сонча взяла все то небольшое, что можно было продать или обменять на продукты. В результате эвакуации, семьи преподавателей ИКУКСА оказались в деревнях Сороченского района Чкаловской (Оринбургской) области.

Я в Костроме остался один, конечно, голодал, так как никакого отношения к продовольственной части курсов не имел. Особенно памятной была встреча Нового 1942 года. Я не был особенно близок в отношениях со своими сослуживцами и поэтому встречал Новый год, стоя у окна, и глядя на безлюдную в это время улицу, ведущую к вокзалу. Обидно было, что все-таки кое-кто, а вернее большинство, встречу Нового года как-то проводил, люди организова-

лись в складчину. Я же в складчину внести ничего не мог. Тоскарь, приглашенный в один из домов, видя, что я остаюсь совершенно один за два часа до встречи Нового года, завел меня тоже в этот дом. Я увидел роскошный стол, конечно, по тем временам. Посидел я немного, глядя на него, но, не получив от хозяина приглашения к столу – ушел. Соседка, муж которой в звании командира роты работал в горвоенкомате, если и не смогла позвать меня к столу, то ухитрилась выкроить из праздничного стола для меня граммов двести колбасы. Поедая эту колбасу, я и встретил 1942 год.

Надо сказать, что соседка, как видно, была местная и разбитная, развратная к тому же дама. В один из вечеров, когда ее муж находился в командировке, она как бы вскользь, заметила, что свою комнату на ночь не запирает. Я понял ее намек. Мое мужское естество взыграло, и я ночью забрался к ней в кровать. Но ничего сделать не смог, то ли от голода, то ли от страха. В дальнейшем я уже не пытался поправить мои дела, хотя она в разговорах была иногда не только цинична, но и бесстыдна.

Конец 1941 года, с его кошмаром наших неудач, развеял мои иллюзии, что мы всех сильнее. Сердце сжималось всякий раз, когда сводка сообщала об очередном отходе наших войск вглубь страны, до стен Москвы и Ленинграда. Я, хотя мне исполнилось уже сорок лет, думал – неужели мы не найдем силы и людей, способных остановить лавину фашистских танков. В эти дни я хотел написать письмо Сталину о том, чтобы он кликнул клич, призывая коммунистов бросаться под гусеницы танков, чтобы смертью своей остановит и уничтожит их. Неужели не нашлось бы в стране тысяч пять или семь коммунистов, готовых пожертвовать собой, для того, чтобы выбить из рук Гитлера это, тогда самое его главное и для нас самое страшное оружие. В своем заявлении я предлагал бы себя. Пусть я буду мертв, но один-то из танков я все же выведу из строя. Я ведь ясно сознавал, что в любом случае, если Гитлер одержит победу, мне не жить. Так уж лучше лишиться жизни в бою. Сейчас я понимаю, что эта моя мысль - наивна.

В те дни, в порядке боевой подготовки, нас, преподавателей курсов, начали было обучать, как при случае нужно будет, находясь в одиночном окопе, подsunуть под гусеницы танка взрывчатку, закрепленную на конце длинной и тонкой жерди. Для вящего эффекта, каждый из нас должен был произвести такой взрыв, выдергивая чеку взрывателя длинной веревкой.

Идет война, я работаю преподавателем, готовя для фронта командиров, а затем и офицеров саперных и инженерных войск Красной Армии. В 1943 году ИКУКС КА были преобразованы в высшую инженерно-минную офицерскую школу с теми же функциями, что и ИКУКС. С работой я справлялся и, не хвастая, скажу, что справлялся хорошо. Ведь главное не в содержании занятий, а в умении излагать материал слушателям. Не имея военного образования, я за годы преподавания усвоил не только материал о военных мостах, но стал и заправским понтонером, то есть освоил материальную часть понтонных парков и работы с ними, наблюдая за учебной работой двух преподавателей ин-

женерного училища Ховратовича и Савватеева. Я настолько овладел этой специальностью, что в офицерской школе в течение двух лет был начальником кафедры «Мостов и переправ», и даже, обнахалившись, поместил в «Военно-инженерном журнале» несколько статей и по предложению штаба инженерных войск написал небольшую книжцу о материальной части и работе с легкими понтонно-мостовыми парками.

Прослужив в Советской армии тридцать лет и в том числе все военные годы, я не имею ни одной награды, которая бы отмечала мое участие в боевых действиях. Через мои руки прошли сотни командиров и офицеров инженерных войск, и уже это одно говорит о том, что я работал не без пользы для войны и победы. Когда я оказывался на фронте, а это было дважды, я не встречал ни одного саперного или понтонно-мостового батальона, где бы не было моих учеников по ИКУКСу и офицерской школе. Начальники родов войск не имели права награждать орденами и медалями работников своего аппарата, а значит и преподавательский состав «своих» учебных заведений. Право награждения предоставлялось только командирам дивизий, корпусов и армий, и конечно же, фронтов.

В апреле 1943 года я был направлен в распоряжение начальника инженерных войск Ленинградского фронта. Мой путь в Ленинград, блокада которого продолжалась, но все же была частично снята, проходил по железной дороге от Костромы в Ярославль – Волхов – Войбаково – Кабона. От Кабоны до Освиновца – катером и далее по дороге жизни через Борисову Гриву в Ленинград. Полоска земли, южнее Ладожского озера, была шириной всего в пять-шесть километров и постоянно находилась под обстрелом немецких батарей. Железнодорожная ветка Шлиссельбург – Поляны, рельсы которой были положены на шпалы, вмороженные в снег, могла быть использована только в ночное время. Через Ладогу мне пришлось перебираться на катере днем. Переправа не обошлась без воздушного налета и обстрела катера с воздуха. Но все закончилось благополучно.

После полутора лет войны я снова в Ленинграде. Он почти безлюден. В центре города разрушенные дома закамуфлированы, и с первого взгляда разрушения не бросаются в глаза. Нева только что вскрылась. В Гостином дворе открыто много магазинов. Торгуют нитками, обувью, особенно много детской, и кое-какими пошивочными изделиями. Чувствуется стремление ленинградских организаций хотя бы внешне показать, что Ленинград живет. Блокада продолжается, обстрелы города артиллерией тоже, но с продовольствием в городе и в войсках стало лучше. С трудом по ветке Поляны – Шлиссельбург – Ленинград идут по ночам поезда.

Явился к коменданту города. Комендант направил меня в Шувалово, а ранее в Шуваловский парк, где в одном из домов размещался штаб инженерных войск Ленинградского фронта. Пред «светлые очи» начиняя Бичевского меня не пустили. Принявший меня начальник штаба, направил меня в 3-ю понтонно-мостовую бригаду, расквартированную под Шлиссельбургом. В задачи

бригады входило: навести и содержать в исправности наплавной мост в устье Невы у Шлиссельбурга. Командиром бригады оказался мой бывший начальник по КЭО ОКДВА в Хабаровске полковник Соколов. Он принял меня очень радушно. Назначили меня помощником командира бригады и, как положено, зачислили на все виды довольствия. Питание по количеству и по качеству было раза в три выше, чем в Костроме. Кошмар блокадных зим 1941 и 1942 годов уже кончился.

Работой я был не обременен. Мост был уже наведен и подвергался только налетам авиации с бомбежками и обстрелами. Большие трудности при наводке и содержании моста представляло сопряжение двух различных понтонно-мостовых парков. Парк Н-2 из металлических элементов и парк ДПП – из деревянных конструкций и элементов. Погода давала себя знать, понтоны захлестывало волной. Большая ширина разлившейся Невы, очень сильное и изменчивое течение и почти морская волна, все это деформировало «ось моста». Я мог помочь только советами и предложил увеличить длину якорных канатов и некоторые из них располагать не вдоль оси понтонов, а под некоторым углом. Мост содержался и охранялся хорошо. Зенитные батареи, расположенные на обоих берегах Невы, не позволяли немцам прицельно бомбить и обстреливать мост, а находящиеся в каждом понтоне бойцы были готовы в любой момент налета устранить неисправность. Люди были обстрелянные, ну и мне приходилось делать вид, что все в порядке, так должно и быть и при бомбежке не уходить в укрытие.

Бригада, включавшая в себя три понтонно-мостовых батальона, располагалась на правом берегу Невы, и сообщение с Ленинградом было хорошее. Жизнь и на войне – жизнь, и командиры время от времени отлучались в город для встречи кто с женами, а кто и просто со знакомыми бабенками. Сам командир бригады Соколов, хотя и имел семью, находящуюся где-то в эвакуации, был грешен и навещал одну молодку проживавшую где-то на улице Ракова. Он также уговорил и меня зайти к ней, дав адрес и разъяснив, что для меня там найдется тоже бабенка, которая уже знает о моем существовании. Конечно, для изголодавшихся жителей Ленинграда дополнительные продукты имели особую ценность. После бомбежек моста в Неве всплывали огромные количества оглушенной рыбы, которой кое-кто в бригаде питался. Рыбы хватало и для поездок в Ленинград, да и прихваченный в столовой хлеб был не менее ценен. Женщины тоже изголодались вообще, и по-своему «по-женски». Сочетание того и другого привели к тому, что у Соколова родился сынишка, за которого ему позже пришлось платить алименты. Сам он к концу войны стал генералом и получил звание Героя Советского Союза. Моя же попытка пойти по данному мне адресу на улице Ракова закончилась неудачно. Я не нашел дома. Видимо в блокадные дни номерной знак был сорван, да особенно я и не стремился попасть туда.

Побывал я и на нашей ленинградской квартире. Рождественники моей жены блокаду пережили благополучно, только одна тетка и ее муж умерли. Все дело

в том, что работая еще до войны в столовых и ресторанах, они продолжали работать там же и в блокадные годы. Побывав у них в майские праздники, я нашел у них такое обилие еды, какого я не видел за все время войны. Была не только еда, то есть консервы, колбаса, сыр, масло, хлеб и булки, но даже вино. Изголодавшись в Костроме, я так набросился на еду, что чуть не дал дуба. В один из дней я съел целых пять обедов: два у себя, то есть у родственников жены, один – в столовой, куда меня завел родственник Василий Иванович, один – в столовой комендатуры и еще один – у себя в бригаде.

В одно из посещений Ленинграда я зашел разок к сослуживцу по ИКУКСу А.К.Акатову, командиру Второй специальной инженерно-саперной бригады. Там тоже была кормежка. Разок зашел к Аркаше Зингеру, он тоже кормил обедом, и даже познакомил меня со своей ППЖ (Походно полевой женой), красивой и по-видимому довольно развратной бабенкой. И в годы войны человек хочет жить и пользоваться всем, что только позволяют ему условия жизни. ППЖ в годы войны были явлением обычным не только в среднем звене, но и в высшем офицерском и генеральском. Бывший командир бригады И.И. Саламахин вспоминал, что парикмахершей у него была ППЖ нач.инжа фронта Бычевского.

Накупив в Гостином дворе ниток и шелка, детской обуви, прихватив подарки своим знакомым соседям в Костроме, уже прямо из Ленинграда по берегу Ладоги на легковушке, а затем и по железной дороге я выехал в Кострому. Привезенные мною нитки и детские сапожки Сончей были обменены на продукты, которые, хоть в малой степени, но улучшили наше питание. А то ведь Сонча к этому времени так отошала, что у нее прекратились даже месячные, а вес уменьшился почти вдвое.

Через четыре месяца меня снова отправили в командировку на фронт, как видно, для «возможности наградить меня орденом». Командировали на два месяца на Первый Белорусский фронт. Начальником штаба инженерных войск фронта был бывший преподаватель ИКУКСа Алексеев. Добравшись из Нахабино до Москвы, это было не так трудно, я получил в штабе инженерных войск Красной Армии командировочное предписание и секретный пакет в штаб фронта, где предполагалось меня использовать на участке переправ Днепр – Сож. На вопрос – куда ехать, ответили – «Пока в Брянск, а там скажут». Я поехал, но пока я искал штаб фронта, его переименовали из Первого Белорусского в Центральный. До Брянска, куда только и ходили поезда, я добирался двое суток. Там узнал, что штаб фронта находится где-то в районе, севернее Чернигова. Проехать напрямую было невозможно, так как железная дорога Новозыбков – Брянск была еще в руках немцев. Надо было ехать в обход через Комаричи – Льгов – Конотоп – Бахмач. А как ехать? Это был вопрос! Через сутки комендант Брянска направил меня к эшелону, который шел куда-то в том направлении. Оказался этот эшелон – с гвардейским минометным дивизионом, то есть со знаменитыми Катюшами. Сами машины были тщательно укрыты и замаскированы на платформах. Живая сила дивизиона, в

том числе и офицеры, ехала в теплушках. В теплушке я оказался старшим по званию, я был тогда подполковник, командир же дивизиона – майор. Несмотря на отсутствие у меня аттестата и талонов на питание, меня кормили из общего котла. Езда была замедленной, не то в Комаричах, не то в Лъгве часть офицеров переписалась купленным где-то на станции самогоном, но дня через три мы оказались в Бахмаче. Несмотря на ранее время, пять утра, Бахмач бомбили. Городу доставалось крепко, если прикинуть, что налеты совершались ежечасно. Комендатура, расположенная в блиндаже в пять накатов, была относительно безопасным местом, но штаб фронта находился где-то в районе Новозыбкова, а добраться туда можно только на попутных, подвозящих снаряды машинах, или по узкоколейке, построенной немцами, но в исправности захваченной нами. Поехал в подвернувшемся случайно аварийном «виллисе». «Виллис» тащили на буксире, догоняя ушедшую вперед авторемонтную часть. Через сутки суматошной езды добрались до Новозыбкова, но и там сказали, что штаб где-то в районе Лоева. Добирался дальше в кабине мотовоза, трюфейного состава на узкоколейке, мотовоз вел не то бывший полицей, не то какой-то техник немецкой дороги из русских. «Полицай» работал уверенно, старательно и усердно. Штаб фронта я отыскал в одном из сел в районе Лоева.

Рассчитывая оказаться в компании своего старого знакомого Алексеева, я бесцеремонно ввалился в одну из комнат штаба инженерных войск, и был ошарашен, когда на месте Алексеева увидел сидящим какого-то подполковника, который потребовал от меня «представиться как положено». Это оказался заместитель Алексеева - Брахлевский. Меня на сутки оставили в «штабной гостинице», приставив как к старшему офицеру ординара. На следующий день меня направили в штаб 42-ой армии, командовал которой генерал Батов, а начинжем был Швидкой. В избе начинжа меня встретил какой-то, внешне вроде бы знакомый, полковник, заявивший мне, что, так как находится вместо Швидкого, то и «секретный» пакет, следовавший все время со мной, он вправе прочитать. Читал громко и внятно, не торопясь, так, чтобы сидевший за перегородкой и находившийся в подпитии Швидкой смог вникнуть в суть дела. Принявший меня полковник тоже был навеселе и оказался бывшим преподавателем ИКУКСа в Ленинграде, отчисленным по негодности к преподавательской работе. Вот оказывается, почему он мне показался знакомым. Сейчас он был начинжем одной из армий и приехал навестить товарища в дни фронтового затишья. В штабе армии делать было нечего и меня командировали дальше в Четырнадцатую Новгород-Северскую инженерную бригаду, командиром которой был полковник Габе, поляк по национальности, впоследствии генерал Войска Польского. Приказом меня назначили заместителем командира инженерной бригады и разместили в одной землянке с начальником штаба. Здесь тоже не было работы. Проведя два-три занятия по наведению низководных мостов, я попросил перевода, где было бы работы побольше. И меня перевели в соседнюю армию. Вперед меня, как видно, в новую часть пришло письмо Алексеева, и встретили меня там более, чем радушно, тем более, что

было шестое ноября. Праздник встретили вместе с нач.артом армии. Местные, то есть этой армии штабные офицеры, были каждый со своей ППЖ. К двум часам ночи нач.инж совсем осовел, но вдруг вспомнил, что меня надо доставить в батальон, который заканчивал строительство моста через Сож, чтобы потом за честь мое прибытие туда, как участие в строительстве, и отразить все это в наградном листе. «Поедем и только!». Двигаться нач.инж в таком состоянии не мог, и поездку отложил только подчинившись энергичным уговорам своей ППЖ. Наутро поехали, зачастую застревая на разбитых прифронтовых дорогах.

Местность была освобождена совсем недавно, дороги и все, что можно было, разбито и уничтожено. Деревни сожжены и как напоминание, что это не всегда проходит безнаказанно, почти у каждого сожженного местечка, покачивались на телеграфных столбах повешенные факельщики. Кроме повешенных факельщиков, недавно освобожденную прифронтовую полосу «оживляли» неубранные трупы немецких солдат. Некоторые лежали прямо на бывшей или по каким-либо причинам на проложенной прямо по ним фронтовой дороге. Замерзшие трупы вдавливались проходящими машинами в отмякший или оттаявший грунт дороги и на наезжей полосе можно было видеть силуэты солдат, как бы вычерченные рисунки погибшего врага.

Комплектование рядовым составом инженерно-саперных батальонов в тот период, особенно частей управлений военно-строительных работ, производилось из местных жителей только что освобожденных районов. Они были только зачисленные, но еще не обмундированные, не стриженные и с окладистыми бородами, так что и не разберешь, какого возраста солдат. Пожалуй, часто это были солдаты 1900-1905 годов рождения. Работали они топором и пилой замечательно.

Прибыли в батальон. Но мост, который ожидали увидеть в стадии возведения, был уже построен. Мне оставалось только пройти по его настилу. После завтрака меня отвезли в другой саперный батальон, где и оставили до времени. Через некоторое время последовало несколько телефонных звонков, приглашавших меня на торжество по случаю выполнения задания командования. Участвовать в пьянке я не захотел и поэтому приехать отказался. И оказывается зря, меня, если бы я прибыл, представили бы к награждению орденом Отечественной войны второй степени. Повторная попытка награждения меня, также закончившаяся неудачно, последовала за первой.

Я не встречал ни одной части, инженерной конечно, где бы я не нашел своего ученика. Везде принимали меня хорошо, и только в одном случае получилась «неувязка». Направили меня в батальон, где командиром оказался (фамилию не помню), бывший мой «воспитанник» по ИКУКСу в Костроме, отличавшийся весьма посредственной успеваемостью и излишней «фанаберией», которому я и дал соответственную аттестацию. Да я еще уж на месте прихватил комбата на весьма неблагоприятном поступке. Этот самодур – комбат назначил собрание и заставил весь состав офицеров ожидать свою «начальст-

венную особу» в течение более часа, пока он соизволит поболтать со знакомой бабенкой. Я, не подчиненный ему, прервал их разговор, сделал ему замечание. Это и сыграло основную роль в том, что и в этот раз меня не наградили, несмотря на более чем прозрачные намеки нач.инжа армии. Да, собственно говоря, не за что и было меня награждать.

Получив в запечатанном конверте самую отличную характеристику моей «работы», я по окончании командировки, в конце ноября месяца убыл в Москву.

Перед убытием побывал на приеме у нач.инжа фронта Прошлякова, и у начальника военно-строительных работ Пруса. Последний не только хорошо принял меня, но и предложил мне купить, по государственной цене конечно, валенки, так как я был в сапогах. Но денег у меня не было совсем, так что валенки остались на складе, а я необыкновенно быстро оказался в Новозыбково. Быстрота объяснилась тем, что Рокосовский, оставив немецкие войска стоять и ждать удара в междуречье Днепр – Сож, нанес удар на север по правому берегу Днепра на Гомель. Фронт требовал боезапас, и боезапас подавали. Организация дорожной службы, содержание дорог, система пропуска машин на дорогах с односторонним движением были поразительно хорошо налажены. Через Клины на Брянск сто пятьдесят километров мне пришлось добираться почти сутки на попутных, тогда как триста фронтовых километров я отмахал часов за пять-шесть на машинах, подвозивших боезапас. Военные машины перевозили не только военные грузы; находились деятели, перебрасывавшие знакомых или родственников, а, возможно, и совершавшие «левые» рейсы. На одной из таких машин мне и пришлось добираться до Брянска среди каких-то узлов.

В Брянске я забрался в четырехосный вагон «пульман» с печкой, надеясь в тепле добраться до Москвы, но был из вагона выдворен поездной бригадой. Обнаружил еще одну теплушку с дымившей трубой, залез туда и уселся среди каких-то женщин. Напротив меня на нарах сидела группа офицеров, один из них, подполковник, показался мне знакомым. Один из младших офицеров, крутившихся около подполковника, подлетел ко мне, возмущенный тем, что я не спросил разрешения у подполковника находиться в вагоне. Пришлось оборвать его, напомнив, что я тоже подполковник и он не в праве делать мне замечания. Всю дорогу до Москвы я присматривался к этой группе политработников, особенно к подполковнику, чем-то знакомому, перед которым так угодничали. Много лет спустя я увидел фронтовую фотографию писателя Шолохова. Это с ним я ехал в поезде до Москвы, но на фотографии он был уже в звании полковника.

По прибытии в Москву, я был назначен исполняющим обязанности начальника кафедры мостов и переправ. Тогда же я перевез семью из Валентиновки в Нахабино.

С 1943 года все начали говорить и требовать использования опыта войны в подготовке офицерских кадров. Во исполнение этого требования я «тряхнул

стариной» (то есть опытом писания статей времен 1926-1927 годов), написал и опубликовал в «Военно-инженерном журнале» семь статей. Кроме того, я в стенах школы организовал несколько конференций слушателей школы для обмена опытом их фронтальной работы по постройке низководных мостов и по организации переправ при форсировании рек. В эти годы я был на хорошем счету, считался незаурядным оратором и преподавателем. Я обнахалился и прочел для поступающих в школу офицеров несколько лекций о творчестве Блока, Маяковского и Горького. В этом помогли мне моя память, ораторские способности и известная доля упомянутого нахальства.

Девятого мая 1945 года, ранним утром мы все узнали об окончании войны и капитуляции гитлеровской Германии.

Мир. Конец военной службы. 1945 – 1955

Война закончилась! Если бы не собственная картошка, тыква и кабачки, выращивать которые умудрялась Сонча, мы вряд ли бы не протянули ноги. Еще во время войны все в Нахабино превратилось в настоящих огородников.

В дни отдыха, если такие случались, и во время войны люди находили время для веселья, время от времени мы устраивали вечеринки в складчину. Где-то добывался спирт, приносили, кто что мог: картошку, огурцы, капусту, как острый дефицит, ставили на стол хлеб. Начинались разговоры и танцы под патефон. Компания соседей была дружная, это были Череповы, Тоскари, Панинковы, Кочуровы и другие.

Война кончилась, но переподготовка офицеров инженерных войск продолжалась. С переходом на мирные рельсы многие из офицеров армии увольнялись в запас. Те, кто был призван в военное время, пошли работать, а «старрики» вышли на пенсию. Долгое время денежный оклад офицеров определялся только занимаемой должностью. Когда значительная часть армейских офицеров была уже уволена, ввели оплату «за погоны», то есть дополнительно офицер получал денежную надбавку за звание. Так, например, я стал получать денег на 1100 рублей больше, чем раньше. Ранее уволенные офицеры, конечно, были недовольны таким положением, а продолжалось оно еще лет десять.

Я продолжал свою работу в качестве исполняющего обязанности начальника кафедры. И в методике проведения занятий, и в области научно-исследовательской работы (если ее так можно назвать) – преуспевал. Но у меня не было ученой степени, и начальником кафедры был назначен некто Клюев из военно-инженерной академии, кандидат технических наук. Сменился также и начальник офицерской школы – им стал генерал Варваркин. Генерал он был боевой, решительный, и «недалекий», но эта «недалекость» полностью компенсировалась его родством по линии жены с Булганнином.

В штабе инженерных войск страны родилась мысль создать небольшой учебник для младших командиров по материальной части и работам с легкими понтонно-мостовыми парками, автором этого учебника предложили стать мне. Договор с Воениздатом я заключил в 1946 году.

В это же время я стал проситься перевести меня в Ленинград. Я знал, что при гражданских ВУЗах должны были открыться военные кафедры, и на одном из занятий, которые я проводил с начальниками кафедр инженерных институтов, кто-то порекомендовал меня начальнику военной кафедры ЛИСИ. Он спросил о моем желании, я ответил полным согласием. Причин перевода в Ленинград было много: и то, что Ленинград – мой родной город, что там есть жилплощадь, что за мной сохранится денежное содержание, получаемое мною в Нахабино.

В январе 1946 года у меня родилась дочурка, которую я давно и твердо решил назвать, в память замечательной девушки, к которой был очень неравнодушен, Ириной.

В конце августа 1947 года я получил назначение в Ленинград.

После почти шестилетнего отсутствия я со своей семьей снова в Ленинграде. Мне сорок шесть лет, жене тридцать шесть, сыну младшему Роллану одиннадцать и дочери один год. Со мной запечатанный сургучом пакет с моими документами. Неласково встретил меня послевоенный Ленинград. Моя комната на Владимирском проспекте занята какой-то старой еврейской четой, а в штабе Ленинградского военного округа мое назначение признали недействительным. В отделе кадров округа заявили, что назначение штаба инженерных войск для них законной силы не имеет, необходим приказ военного министра. К работе меня не допускают, а назначают временно в резерв. Хотя мой военный паек и денежное довольствие мне и идут, но мне от этого не легче, так как я не могу прописать в Ленинграде свою семью, а значит, и получить на них продовольственные и промтоварные карточки. Положение создалось критическое. Причина же была проста. Как выяснилось позже, на место, на которое я был прислан, метил некто Саломахин, бывший командиром инженерно-саперной бригады Ленинградского фронта и лично знакомый со всеми кадровиками в штабе округа. Он – то и постарался не допустить меня на место. Несколько слов о Саломахине: мужик хитрый и достаточно умный, с душком карьериста и провокатора. Но я раскусил его, поняв, что бороться с ним в открытую, не имея абсолютно никакой поддержки, нельзя. Из создавшегося положения я кое-как выкарабкался. Нам помогла двоюродная тетка Сончи Зинаида, предоставившая нам на время свою комнату, и старый друг – Аркаша Зинер, давший мне, как командир автчасти, справку в том, что я в 1941 году был направлен из Ленинграда на фронт, что по существовавшим тогда законам обязывало немедленно предоставить мне ранее занимаемую мной жилплощадь. После представления справки прокурору, дней через десять квартирная проблема была решена. Соответственно решилась и карточная проблема. К этому времени пришел приказ военного министра о назначе-

нии меня и того же самого Саломахина на должность преподавателей военной кафедры ЛИСИ, меня как мостовика и понтонера, а его как подрывника. На первом же партийном собрании кафедры закрытым тайным голосованием меня избрали партгором кафедры, вторым кандидатом на этот пост был тот же Саломахин. Каждый раз, а это было шесть раз подряд, нас выдвигали вместе, а избирали постоянно меня.

Работа на кафедре мне была по плечу, работа нравилась и я не только на кафедре, но и в институте преуспевал. Нам удалось значительно повысить авторитет военной кафедры, которого в прежние годы кафедре явно не хватало из-за низкой квалификации преподавательского состава. Работа шла ровню. Занятия сменялись зачетами и экзаменационными сессиями. Ежегодно весной (май, июнь) всей кафедрой выезжали в лагерь (в расположение понтонно-мостового полка) на Карельский перешеек, где отрабатывали работы с понтонно-мостовыми парками, что «ставило меня на центральное место» на кафедре. Плохо было одно, что на вооружении полка был новый, мне не известный понтонно-мостовой парк ТПП. Но руководствуясь упомянутым изречением Козмы Пруtkова: «Усердный в службе не может бояться незнания – всякое новое он прочтет», я быстро разобрался в материальной части.

В 1947 году Воениздат выпустил в свет мой учебник «Работы с легкими мостовыми парками», а «Военно-инженерный журнал» напечатал еще одну мою статью. Мне дважды пришлось проводить занятия на сборах преподавателей инженерных войск Ленинграда.

Партком поручил мне обследование кафедры в нашем институте по истории КПСС, и по заданию райкома в Механическом институте кафедры политической экономии. Мои довольно резкие замечания в адрес преподавателей этих кафедр общественных наук, не могли пройти бесследно, и я в среде их приобрел достаточно недоброжелателей.

Весной, в начале марта 1953 года, я, да и весь советский народ, был потрясен известием о кончине товарища Сталина. Отбросив в сторону все напластования, павшие на эту личность, от чистого сердца могу сказать, что все положительное, что происходило в нашей стране и даже во всем мире, связывалось с именем Сталина. Выступая в институте на траурном митинге, я не сдерживал слез, когда говорил о Сталине и его делах.

Генеральным секретарем был избран Маленков. Прокатилось по стране дело врачей. Был арестован, снят со всех должностей и быстренько расстрелян Берия со своими приспешниками.

В свои пятьдесят четыре года, с 1955 году, я стал размышлять о своей дальнейшей службе. Я – инженер-полковник, в моем возрасте как военный работник, да и вообще работник, продвинуться дальше уже не смогу, то есть получается в некотором виде застой. Я задумался об уходе в отставку. Удерживать меня на службе некоторое незначительное понижение материальных благ не могло. По приказу № 100 я получал бы пенсию в 90% своего денежного содержания, потеря была невелика. Особенно меня тревожили начавшиеся

сбоя в состоянии здоровья. В тот год я начал ощущать внезапно возникающие у меня головокружения и учатившиеся головные боли вообще. Получив направление на военно-врачебную комиссию и превосходную характеристику, написанную Васей Череповым, я пролежал почти месяц в гарнизонном госпитале. Решение комиссии было таково: «Гипертоническая болезнь второй стадии, атеросклеротический миокардиосклероз, недостаточность кровообращения первой степени». Вывод: «Не годен к службе в мирное время, ограниченно годен второй степени в военное время, отпуск и освобождение от работы до оформления документов об увольнении». Последнее заключение меня очень напугало, и я решил, что дни моей жизни почти сочтены. Первые несколько месяцев после комиссования я действительно ничего не делал, кроме как лечился, то есть, возможно, больше был на воздухе и пил всякие лекарства. Нужно сказать спасибо Сонче – она меня во всем оберегала и никогда не стесняла моей свободы в прогулках и в отдыхе дома. По прошествии нескольких месяцев такой гражданской свободы, я все же решил, что могу не только гулять, но и работать.



1932 год София и Павел Коноваловы



1950 год. Соня и Павел с детьми Владиленом, Ролланом и Ириной

Послесловие

Размышления 1974 и 1983 годов

О Сталине и послевоенной политике партии

Размышления Павла Ивановича Коновалова 1974 года о том хорошем и даже великом, что свершил Сталин.

Во-первых, он сумел покончить с демагогией, демагогами, говорильней и прожектерством. А это обеспечило единство взглядов и помыслов партии.

Во-вторых, хотя он и «ограбил» деревню, но зато сумел восстановить народное хозяйство в целом, индустриализовать страну, поставить ее в число первых стран мира, и всем этим предрешил коренную перестройку деревни на новых путях. Правда, что последний процесс был особенно болезнен, не завершен им, да и полностью не завершен и сейчас. В-третьих, он обеспечил рост могущества страны и тем самым сорвал замыслы классовых врагов и западных стран войной стереть с лица земли наше первое в мире социалистическое государство. Ведь фактически в течение девятнадцати лет (1922-1941) наша страна жила в условиях мира, если не считать стычек у озера Хасан и у Халхин-Гола. В-четвертых, он сумел мобилизовать партию и народ на войну с гитлеровской Германией и привел нашу страну к победе. В-пятых, ему же мы обязаны и тем, что смогли так быстро залечить раны нанесенные войной.

Наполеон по сравнению со Сталиным, конечно, пигмеем. Наполеон с точки зрения нравственности был бесстыден и подл. А о нем более всего написано книг. И кто из поэтов и прозаиков прославившихся и кичившихся своей чистотой и неподкупностью не воспел Наполеона ?

Сталину, по-видимому, были особенно ненавистны военные начальники времен гражданской войны: Тухачевский, Якир, Блюхер, Штерн, Федько и другие. Несмотря ни на что наши поэты и писатели: Шолохов, Павленко, Леонов, Шишков, Вишневский, Светлов, Суриков, Прокофьев, как и зарубежные: Бернард Шоу, Ромэн Роллан, Ив Фарж – писали и посвящали ему свои панегирики. Как это похоже на толпу, которая человеку, достигшему вершины власти, прощает все его подлости, и поклоняется ему и поет ему славу.

Большие ошибки были допущены Сталиным до войны: уничтожение военных кадров высшего командного состава, приведшее к дискредитации командиров армии, а значит и к падению дисциплины; систематическая изоляция отечественной научно-технической мысли от достижений зарубежных ученых. Я лично считаю, что если бы не было этой изоляции, то наши ученые смогли бы дать на вооружение нашей армии атомное оружие раньше, чем это

сделали американцы. Ведь в те годы кибернетику, которая пронизывает сейчас все поры жизни человечества, объявили у нас лженаукой.

Решающей ролью в разгроме Германии было полководческое искусство наших военачальников и непреклонная воля и жестокость Сталина. Полководцам были предоставлены широчайшие права – они могли казнить и милловать. Это безусловно способствовало возникновению кое у кого из них бонапартистских устремлений, поэтому на фронтах и в армиях были созданы военные советы, в которые входили, кроме командующего, еще два члена. Так как кадровых работников высокого ранга было мало, пришлось членов военных советов назначать из секретарей обкомов партии и для придания им веса в глазах кадровых командиров им всем «прицепили» генеральские погоны. Так образовались десятки, если не сотни, генералов, вовсе не знавших, что такое военная служба. Конечно, в глазах таких полководцев как Жуков, Конев, Рокоссовский, Говоров эти новоявленные генералы не могли и не пользовались уважением, но зная крутой нрав Сталина, они были вынуждены их терпеть и в какой-то мере с ними считаться. Для многих появление этих «штатских» генералов было тем более обидно, что все они сами были коммунистами с подчас большим партийным стажем, чем у приставленных к ним членов военных советов. «Штатские» генералы, кое-где пытались «водить» войска. Примером тому служит Мехлис, вмешательство которого очень дорого обошлось армии. Тысячи солдат и офицеров погибли в боях, много попало под суд военного трибунала по его, Мехлиса, вине, из-за его безграмотности. А ведь он лежит у Кремлевской стены !

Теперь о состоянии тыла в годы войны. Героизм в тылу был равен героизму на фронте. Была совершена гигантская, прямо-таки нечеловеческая работа. К работе было привлечено все население – «Все для фронта – все для победы!». Но какой ценой? По окончании войны стали известны случаи когда, привлеченные к трудовой повинности на заводах девчонки в возрасте тринадцати – четырнадцати лет, истосковавшись по родным и, будучи не в силах справиться с тяготами труда и жизни, пытались выехать из этих заводов. На железных дорогах их ловили, и по указанию Берии, судили и приговаривали к различным срокам тюрьмы. В тюрьмах они попадали в лапы отъявленных преступниц и проституток, которые продавали их за водку уголовникам.

Особое положение сложилось и с бывшими военнопленными. С власовцами понятно – это предатели. А как поступить с теми, которые попали в германский плен, будучи не в силах сопротивляться или без оружия ? Решения принимались не в пользу бывших пленных. Они проходили специальную чистку. Многие на годы попадали в лагерь. Муж моей сестры Марии, бывший шофером и попавший в плен, оказался после войны на пятнадцать лет на Колыме в лагерях, только потому, что его физиономия не понравилась следователю при чистке. Разделавшись с «пленными», и не имея особых хлопот со шпионами и резидентами разведок, засылавшимися в нашу страну, чтобы не остаться не у дел, стали «создаваться дела» против отдельных людей и даже

целых парторганизаций. Так было создано дело Воскресенского (начальника Госплана и члена президиума ЦК) и Ленинградское дело. Все причастные к этим «делам» были зверски казнены. А те, кто создал эти дела, получили возмездие только после разоблачения Берия и его приспешников. В годы с 1952 по 1953 мне неоднократно приходилось слышать указания райкомов о том, что при оформлении колонн манифестаций вслед за портретом Сталина должно нести портреты Молотова и Берии. Однако, после смерти Сталина, ЦК партии решило, и совершенно правильно, выдвинуть генсеком Хрущева. И Молотов, и Берия уж слишком сильно были скомпрометированы даже в верхах ЦК своим участием в насаждении культа Сталина, а значит и в тех беззакониях, которые творились именем Сталина при его жизни.

Однако, Хрущев, разоблачая культ Сталина, переборщил. Именно он низвел все достижения социализма до уровня античеловечности. В шестидесятые годы началось решение жилищного вопроса в стране, при этом промышленность и сельское хозяйство были поставлены на грань разруги организацией и реорганизацией совнархозов, умалением роли министерств, насаждением кукурузы, где только можно. Во внешней политике он повел себя так, что после посещения им ряда государств и после выступлений с речами, министерство иностранных дел направляло специальные чуть ли ни «пожарные команды» для объяснения того, что и как нужно понимать в выступлениях советского лидера.

О смысле жизни

Оглядываясь на свое прошлое Павел Иванович нередко пытался дать оценку своей жизни. Так, в записях 1983 года он оставил следующие страницы на эту тему.

Не абстрагируясь, а только рассматривая особо важные события моей жизни, я прихожу к выводу о том, что я принадлежу к числу удачливых в жизни людей. Что бы со мной ни происходило, какие бы глупости и ошибки в своей жизни я ни совершал, все оборачивалось благоприятным для меня образом. Вот те несколько фактов из моей жизни.

Не будь я отчислен в 1917 году из почтамта, я не встретил бы отца, не попал бы в Вологодчину, а прозябал бы как сортировщик писем, в течение многих лет оторванным от всякой общественно-политической жизни.

Не будь я в деревне назначен в Молоковскую школу учителем, я не общился бы к уяснению текущих событий в нашей стране и, возможно, не вступил бы в партию, и не стал бы ее ветераном. Мои первые шаги в партии явились следствием, с одной стороны, внимательного изучения материалов газет и, с другой стороны, споров с отцом о роли крестьянства. Он преувеличивал эту роль – я ее отрицал.

В свои молодые годы, вырвавшись из материнского плена, я стал излишне говорлив и скоропалителен в своих выводах. Но мне удачно встретился один бывший меньшевик (политрук роты казаков), который умерил мой пыл, указав, что значит в партии большевиков основной принцип ее строительства – «демократический централизм». Не будь этой встречи, я, в своем ребяческом задоре и словоблудии неминуемо бы скатился к троцкизму и к левацкому толкованию НЭПа.

Не выскази однажды отец в споре со мной мысль о том, что есть люди, которые славятся своим красноречием и в связи с этим, в своем обществе, бывают авторитетны, я не занялся бы оттачиванием своей речи, начиная это продельвать еще в 1920 году и продельваю это еще и сейчас. Правда, взлет моего красноречия нужно отнести только к сороковым годам. Сейчас я еще числюсь хорошим пропагандистом, и моя фотография вот уже лет десять висит на доске почета в Райкоме, но сказываются годы, а с ними тускнеет и моя слава хорошего агитатора – пропагандиста.

Не научись я связно, а главное образно, излагать свои мысли, что само по себе развивало мою память, я бы не смог из обыкновенного посредственного инженера – строителя превратиться в 1940 году в преподавателя высшего военно-учебного заведения. Причем, раз назвавшись груздем и уложенный – согласно русской пословице – в корзину, я «должен был» печататься в прессе, опубликовать статьи и ухитрился даже выпустить небольшой учебник.

Разве я несчастлив, если живу уже восемьдесят два года? А ведь мне приходилось ходить, как говорят, по острiu ножа все, так называемое, сталинско-бериевкое время. Был период, когда многие не только рядовые старые члены партии, но и виднейшие из них находились под подозрением. Чем дольше был человек в партии, тем больше он мог в своей жизни наделать ошибок. Было время когда «трати своей партийной бородой» было не безопасно. В 1938 году на стройке, которой я руководил на Дальнем востоке, вспыхнул пожар и нанес убытки государству в десятки тысяч рублей. А ведь этот год был годом, когда борьба с проявлением «вредительства» была особенно обостренной, и малейшее подозрение во вредительстве заканчивалось не только исключением из партии, но и объявлением такого «деятеля» врагом народа со всеми вытекающими из этого последствиями.

Если бы я не преуспел в развитии своей памяти и в сколько-нибудь правильном и грамотном изложении своей мысли, я бы не получил направление с Дальнего востока прямо в военно-инженерную академию Советской армии в Москву. Нужно сказать, что это было явлением исключительным, так как я не только не имел какой-либо научной степени, но даже и не кончал ни одного военного учебного заведения, ни среднего, ни тем более высшего.

Началась Великая Отечественная война и меня, как не имеющего военного образования, не могли назначить ни в одну из воинских частей, сражавшихся на фронтах. На фронте я был лишь дважды и в течение всего шести месяцев. В настоящих боевых условиях оказался только дважды: однажды под бомбежкой с воздуха, а второй раз – под артиллерийским обстрелом.

Все это говорит о том, что в жизни я был удачлив.

Говорят, что человек - это сгусток впрессованного в него времени. Да ! в моей памяти впрессовано огромное число великих свершений двадцатого века. Мое участие в них, конечно, минимальное, как и у всякого рядового, средней руки человека. Но ведь и океаны образуются из капель, а я – старый коммунист (уже шестьдесят три года я член коммунистической партии), поэтому я вправе про себя сказать словами поэта Дудина «Я прожил жизнь не одиноко, и капля моего труда в кипении бурного потока, а не в спокойствии пруда».

Итак, я сделал вывод – я удачлив. Но могу ли я сказать, что от этой удачливости я счастлив? Ответ – двоякий: «да, счастлив», «нет, несчастлив» - все зависит от того определения, которое дают понятию «счастье». Об этом я думал многие годы и много страниц своих дневников отвел этим размышлениям. Здесь скажу лишь несколько слов.

Я несчастлив оттого, что в жизни испытал мало наслаждений как плотских, так и духовых. Относительно первых, я завидовал своим друзьям молодости, а в отношении вторых я завидовал и завидую тем, кто испытывает наслаждение от симфонической музыки, от оперных арий и балета, а также тем, кто восторгается произведениями искусства. В последнем не моя вина, а моя беда. Это наследие моего нищенского и убогого детства и отрочества.

Я счастлив тем, что в своей жизни любил и был любим, оставил на свете после себя двух сыновей и дочку, которые по моему разумению, нашли свое место в жизни, и это обретенное ими место в жизни они «не изгадят». Вы, мои дети, будете в жизни еще более счастливы, чем ваш отец, пробивший себе дорогу, выйдя из низов народа, безграмотного, бескультурного и нищенствовавшего, как в духовном, так и в материальном смысле этого понятия.

Содержание

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ.....	1
<i>Вспомнить и рассказать.....</i>	<i>4</i>
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	7
Годы надежд и выживание.....	7
<i>Мои предки.....</i>	<i>7</i>
<i>Сельская жизнь.....</i>	<i>10</i>
<i>Нравы и природа.....</i>	<i>13</i>
<i>Жизнь портновская.....</i>	<i>15</i>
<i>Наша семья.....</i>	<i>18</i>
<i>Познавание жизни.....</i>	<i>23</i>
<i>Мольбы.....</i>	<i>27</i>
<i>Школьные годы.....</i>	<i>30</i>
<i>Петроград 1914 - 1917.....</i>	<i>36</i>
<i>Вступление на трудовой путь.....</i>	<i>40</i>
<i>В бегах. Лето 1917 года.....</i>	<i>47</i>
<i>Провинциальная жизнь: 1917-1919.....</i>	<i>54</i>
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	63
КРАСНОРЕЧИЕ.....	63
<i>Сельский шкраб.....</i>	<i>63</i>
<i>Москва 1920 – 1921: дискуссия о профсоюзах.....</i>	<i>72</i>
<i>Ярославль 1922 – 1928: Ирина и Надинка.....</i>	<i>82</i>
<i>Ленинград: Студенческие годы. Союшша.....</i>	<i>95</i>
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	101
Война и жизнь.....	101
<i>Дальний восток 1934 - 1939.....</i>	<i>101</i>
<i>Штаб Второй Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии.....</i>	<i>109</i>
<i>Москва 1940 год.....</i>	<i>112</i>
<i>Ленинград 1940 – 1941.....</i>	<i>114</i>
<i>Великая Отечественная Война.....</i>	<i>117</i>
<i>Мир. Конец военной службы. 1945 – 1955.....</i>	<i>125</i>
ПОСЛЕСЛОВИЕ.....	131
РАЗМЫШЛЕНИЯ 1974 и 1983 ГОДОВ.....	131
<i>О Сталине и послевоенной политике партии.....</i>	<i>131</i>
<i>О смысле жизни.....</i>	<i>134</i>
СОДЕРЖАНИЕ.....	137

Павел Иванович Коновалов
История одной жизни

Биографическая повесть с зарисовками жизни и деятельности в предреволюционной и советской России до шестидесятих годов двадцатого века. Книга рассчитана на вдумчивого читателя, пытающегося разобраться в процессах формирования личности, интересующегося отображением исторических событий и описанием личностных черт участников этих событий, способствовавших занятию ими тех или иных социальных позиций в этот период времени.

Редакция и комментарии В.Н. Гусевой и И.П. Посель
Художественное оформление и верстка М. Ивон и Ж.Чикини